



ЗОЛОТАЯ ЭРА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДЕТЕКТИВА

**ВИКТОР
ПРОНИН**

**БРЫЗГИ
ШАМПАНСКОГО**



МОСКВА 2022

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П81

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

www.eksmo.ru

 **vmirefiction**

Иллюстрация на обложке *Алексея Дурасова*

Пронин, Виктор Алексеевич.
П81 Брызги шампанского / Виктор Пронин. — Москва :
Эксмо, 2022. — 480 с.

ISBN 978-5-04-166532-6

Он приехал в Крым отдыхать. И сначала все было как надо — солнце, море, красивые девушки. Но вот случайно в ежедневнике директора пансионата он увидел свою фамилию. Настоящую фамилию, которую знали лишь те, у кого было, что ему предъявить. Это значит — его ищут. Когда-то у него был общий бизнес с крутыми ребятами. Многие из них потом «отвалились». Разумеется, не по своей воле: кого-то взорвали с машиной, кого-то застрелили в упор, кто-то бесследно исчез — все в духе времени... И вот теперь из всей компании осталось только двое — он и его противник. Узнать бы, кто он. Потому как времени осталось в обрез — только, чтобы успеть выстрелить друг в друга...

УДК 821.161.1-312.4

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-166532-6

© Пронин В.А., 2022
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

Нас было много на челне.

Иные парус напрягали, иные просто умирали. Их, вернее, убирали. Чтоб не мешали. А они мешали — своим существованием. Не выдерживали схваток с собственными слабостями, милыми такими недостатками — недержание слова, недержание языка, недержание денег. Деньги не любят солнечного света, свежего ветра, громких голосов. Они предпочитают тишину и полумрак. И еще деньги не любят, когда их называют деньгами.

Лучше их никак не называть.

Даже употреблять слово «они»... Нежелательно. У них свое понимание жизни. Понять их законы невозможно, лучше и не пытаться. Этого они тоже не любят — нервничают и исчезают, чтобы вынырнуть в совершенно неожиданном месте, в непредсказуемой компании и опять же с непонятной целью.

Деньги не могут существовать сами по себе, они питаются кровью человеческой, страстями и, простите за глупое слово, — мечтами, успехами и поражениями человека.

Да, нас было много на челне.

Но мы не знали законов денег, вернее, больших денег. А деньги и большие деньги отличаются, как небо и земля. Потом нам вдруг стало тесновато. И хотя нас становилось все меньше, ощущение тесноты не исчезало.

Более того, оно делалось все нестерпимее. Это чувство мучительно требовало выхода.

И оно этот выход находило.

Теперь я остался один. Наверное, бывает и так. А ведь прошло совсем немного времени... Года два, может быть, три.

И я один.

Лежу на голых камнях коктебельского пляжа и чувствую себя каким-то чудищем, выброшенным штормом из морских глубин. Третий день сильный ветер, злая волна, на пляже почти никого, и только мое отощавшее тело с бестолково разбросанными руками-ногами украшает пустынный пейзаж. В сентябре здесь всегда ветры, солнечные ветры из южных стран. В Турции опять землетрясение, а сюда докатилась лишь морская рябь — мутная, теплая, безобидная.

Подо мной — грязноватая, бесформенная галька Дома творчества писателей. Когда-то здесь был прекрасный черный песок, но его вывезли на строительство дач и завезли щебень с ближайших карьеров. За двадцать лет море кое-как обкатало острые камни, и теперь на них можно лежать. Но сущность щебня осталась прежней — каждый камень так и норовит впиться в тело каким-нибудь отупевшим своим острием. Пройдет сотня лет, и, глядишь, здесь будет вполне терпимый пляж.

Дождаться бы...

Но это я ворчу, ворчу, рассматривая гальку прямо перед моими глазами. Между камнями мятая пробка от бутылки, осколок стекла, ржавая женская шпилька. Черные верткие жучки бесстрашно протискиваются в щели между камнями, не боясь быть раздавленными, не подозревая, что человеческая ступня легко перемещает камни, которые кажутся им такой надежной защитой. Не знают, бедные, не знают, глупые, что надежных защит

не бывает, как не бывает надежных крыш — уж об этом-то я могу судить со знанием дела.

В пяти метрах от меня лежат на камнях несколько загорелых до черноты девушек. Я бы даже сказал, излишне загорелых, у некоторых на лбу, на щеках проступили сероватые пигментные пятна — явный перебор. Видимо, здесь они не первый месяц. Неужели можно столько загорать?

Надеваю темные очки, купленные когда-то на неаполитанской набережной, хорошие очки, из настоящего, чистого стекла. Теперь я могу рассматривать девушек настырно и безнаказанно. И я рассматриваю их голые плечи, ягодицы, бедра и прочие достоинства. Все открыто, все обнажено. Это не нудисты, нет, на них купальники, но какие-то своеобразные. Верхняя часть купальника отсутствует вовсе, а нижняя представляет собой два шнурочка — один проходит по талии, а второй утонул где-то между их достоинствами. Девушки знают, что я их рассматриваю, и принимают причудливые позы, чтобы солнце бесстыдными и жаркими своими лучами дотянулось до самых сокровенных мест, чтобы и самыми сокровенными своими местами похвалиться по возвращении на Большую землю.

Неужели найдется воздыхатель, который и туда заглянет, чтобы убедиться — и там все загорело? Нет, ничто во мне не вздрагивает, ничто не откликается на эти невинные, в общем-то, призывы. Я пуст, как вон та пивная бутылка, которая безвольно ворочается в мутных волнах, поблескивая зеленоватыми боками.

— Не делай этого, — попросил он, не оглядываясь. — Будешь сожалеть. Если хочешь, я исчезну. И ты никогда меня больше не увидишь, никогда обо мне не услышишь.

— Согласен, — сказал я и нажал курок. Я знал, куда нужно стрелять, чтобы всем было хорошо. Он больше

ни о чем не просил. И свое обещание выполнил — я его с тех пор не встречал и ничего о нем не слышал. Откуда мне было знать, что он и мертвым умудрится о себе напомнить страшновато и опасно?

А сколько нас было? Человек семь?

Да, нас было семь человек.

Иные парус напрягали, иные тихо исчезали...

— Молодой человек, который час? — спросила девушка с раздвинутыми навстречу солнцу ногами, спросила, не оборачиваясь, не глядя, но всем своим телом меня видя и ощущая.

— Половина второго, — обычно я не ошибаюсь больше чем на две-три минуты.

— О! Скоро обед! — обрадовалась девушка и, сдвинув потрясающие свои ножки, перевернулась на живот. — А вы где обедаете?

— В столовой.

— О! Вы — писатель?

— Спасатель.

— Кого спасаете?

— Себя в основном.

— Успешно?

— Как видите.

— А от чего спасаете?

— От смерти.

— Вы боитесь смерти? — Ее голубовато-серые глаза были широко открыты, и, ожидая ответа, она даже чуть приоткрыла ротик, показав ровные белые зубки — сознательно показала, чтобы я знал, какой она бывает в минуту... Ну, в ту самую минуту. Все это я увидел, все понял и, заглянув в себя, в самую глубину, с облегчением убедился — пусто.

— Боюсь, — ответил я после некоторого молчания.

— Она где-то рядом?

— Она всегда рядом.

— Совсем-совсем? — Слова совершенно невинные, но только после вопроса я понял, что чем-то ее заинтересовал.

— На расстоянии вытянутой руки.

— И моя смерть тоже... На расстоянии вытянутой руки?

— Ваша чуть подальше... На расстоянии вытянутой ноги. А ваши ноги, как я заметил, достаточно длинны.

Девушка рассмеялась, я тоже изобразил лицом нечто напоминающее улыбку, чтобы не показаться уж совсем круглым идиотом.

Кроме девушек и меня, на пляже никого не было.

И Дом творчества писателей тоже был пуст.

Нет здесь писателей.

А говорят, в прежние времена сюда ломились инженеры человеческих душ, за каждое место дрались, за полгода заявки подавали, секретаршам конфеты носили коробками, чтоб понравиться, чтоб запомниться. Куда они все подевались?

Их тоже было много?

На их челне...

Иные что-то создавали, иные в море заплывали, а чаще просто поддавали.

Девушка почему-то настойчиво спрашивала о смерти, зацепило ее словцо, брошенное без всякой задней мысли. Неужели догадалась, неужели почувствовала, что от меня просто несет вонью смерти?

Может быть, может быть...

Меня сейчас могут искать на Багамах, Канарах, даже на Ямайке. С единственным стремлением — убрать. Но не в Коктебеле же... Не в сентябре же, когда опустевают пляжи, шашлычные, горные тропы и прибрежные воды. После летнего многолюдья, после круглосуточных загулов, когда ночи напролет земля содрогалась от грохота

оркестров, визга женщин, осатаневших от безнадзорности...

После всего этого саднящая тишина кажется невыносимой.

Девушка больше ни о чем не спрашивала. Она произнесла все, что требуется в таких случаях, даже больше. За дальнейшими ее словами уже шла бы навязчивость.

Еще раз прислушался к себе, всмотрелся в темные свои глубины.

Печальная опустошенность.

Такое состояние бывает после затяжной болезни, когда однажды утром просыпаешься слабым, немощным, похуевшим, но здоровым.

Я поднялся, сунул ноги в шлепанцы, поднял рубаху и поволок, поволок ее по горячей гальке к выходу. Камни сухо поскрипывали под ногами, рядом шелестела неспешная волна, от Карадага дул теплый ветер, настоящий на осенних травах. Где-то рядом ощущалось присутствие людей, слышались негромкие голоса, призывный южный смех, но меня эти звуки нисколько не затрагивали.

И вдруг охватило острое ощущение — вокруг сентябрь, вокруг Коктебель, а я здесь один, обдуваемый ветром с гор. Загорелый, отощавший, пустой. И эта пустота была приятна, как и солнечный ветер, как и легкая волна на темно-синем море.

К сентябрю Коктебель остывал, и появлялась в нем почти непереносимая привлекательность. Камни уже не были столь горячи, и полуденный зной становился вполне терпимым. Хотя по опустевшим дорожкам все еще бродили красавицы, но уже не летние, другие, чуть остывшие после лета, после жизни, полной чего-то несбывшегося, — они все выглядели так, будто у них что-то важное не состоялось.

Все мы немного поостыли, поуспокоились, поубавилось желаний и куражу. Но то, что в нас осталось, то

малое, что сохранилось, вдруг заострилось, наполнилось неутраченной жаждой доказать свое, остаться правым или хотя бы выжить и уже этим доказать свою правоту, в чем бы она ни заключалась.

Уж не я ли единственный и остался? Не исключено, не исключено... Я да вот еще некто, который шастает сейчас где-то по Багамам или по Канарам, сунув руку в карман и сняв предохранитель. Его глаза за темными очками прищурены бдительно и настороженно — он высматривает меня.

Удачи тебе, дорогой.

Не обознайся, не промахнись.

За себя ручаюсь — не обознаюсь. И не промахнусь.

И вдруг в мое самодовольное благодушие вошла тревога, беспокойство. Что-то было не так, что-то нарушило улыбочивое перебирание событий недавнего прошлого.

Я подошел к парапету, положил ладони на горячий бетон, взглянул на море, пошарил взглядом по берегу.

Внизу на камнях увидел девичье лежбище — несколько минут назад я был там. Девушки заметили меня, одна из них помахала тонкой загорелой рукой. Я ответил, она улыбнулась и пошире раздвинула ножки, впуская в себя солнце. Вот видишь, как бы говорила она, я не только снаружи, я и внутри вся залита солнцем, у меня и внутри все горячо, свежо и коктебельно. Она хотела убедиться в том, что я вижу ее раскованность и готовность.

Пристальнее взглянув в себя, я убедился еще раз — пусто. Пустота, пронизанная опасностью.

Я понял — меня можно вычислить.

А если можно, то уже вычислили.

Однажды, в хорошем уже состоянии, когда все мы были на одном челне и нам не было тесно... В грузинском ресторане, недалеко от станции метро «Прспект Мира»... Да-да, это случилось именно там, выходишь из метро — и налево... На столе стояло много шампанского,

у нас всегда было много шампанского... Фирменный напиток. Серебряные ведерки, забитые кубиками льда, из них торчат серебристо-зеленые горлышки, все счастливы и расслаблены — удалось, получилось, состоялось. И я произнес слово «Карадаг». Не помню, по какому поводу, просто всплыло из глубин организма, добралось до языка, и глупый язык проговорил это словцо.

Карадаг.

Так вот, если кто-то это словцо вспомнит...

То у меня нет убежища.

И я сейчас, как вошь на гребешке, — виден со всех сторон.

Скользнув взглядом по шербатым вершинам Карадага, я спросил себя: будешь удирать? И ответил себе — нет. Если последние наши выстрелы прозвучат здесь — так тому и быть. Нет сил снова куда-то нестись, менять самолеты на пароходы, острова на материки, горы на равнины. Нет никаких сил. А если уж откровенно, то и некуда. Мир, оказывается, не так уж и велик. Места, где ты хочешь жить, можно перечислить по пальцам. Где-то в Греции найдется уголок, в Испании... Есть в запасе юг Сахалина...

Пусть шумят волны, дует с гор теплый ветер, настоящий на горькой крымской полыни, пусть набережная с каждым днем становится все безлюднее, пусть остывают камни парапета, мутнеют волны. Татары и узбеки, азербайджанцы и армяне уже закрывают шашлычные, чебуречные, хачапурные и прочие дерьмовые свои забегаловки. Шашлыки разогревают по несколько дней, пока не купит какой-нибудь дурак, ошалевший от столовских харчей. И чебуреки давно превратились в подошвы, но торговцы продолжают их поджаривать и зазывать простодушных отдыхающих. В разговор с торгашами лучше не вступать — тут же начинают восторгаться Басаевым, Радуевым, Хаттабом, тут же с не-

понятным остервенением начинают материть русских. Ну и ехали бы жарить шашлыки к Басаеву, попробовали бы угостить своими чебуречными ошметьями Хаттаба...

Чужие люди.

А как тогда лилось шампанское! Какие счастливые брызги окропляли застолье! Как прекрасен был мир, распахнувшийся вдруг перед нами во всем своем великолепии! Он и сейчас не хуже, этот мир, но нет сил восторгаться им, принимать от него дары великодушные и бесценные. И уж нет тех людей, которые восторгались этим миром так искренне, так радостно и ошарашенно.

Погиб и кормчий, и пловец...

Или певец?

А может, подлец?

Меня легче узнать — я длинный. Моя голова всегда над толпой. Мой затылок уязвим для любого стрелка. Единственная надежда — он глупее.

И знает это.

И потому опаснее.

Он не будет искать удобный момент, подыскивать пути отхода, выбирать время суток, когда выполнить черную свою работу уместнее всего. Просто всадит мне три пули между ухом и виском, а потом спокойно шагнет в кусты, чтобы отлить. Он прекрасно знает, что здесь, в Коктебеле, ему нечего опасаться. Забросит пистолет в залитый водой строительный котлован, выйдет на дорогу и на первой же попутке рванет в Феодосию. Или в противоположную сторону — в Судак, Ялту. И не задумается даже — куда лучше, куда безопаснее. Не будет готовиться и колебаться. Да, он непредсказуем. Я уже слышал об этом — отправляясь на задание, он мог остановить машину, которая шла в нужном направлении, мог сесть в машину, которая шла в противоположную сторону, — и заходил с тыла.

Я его никогда не видел, ничего о нем не знаю, кроме одного — он всегда выполнял порученное. Даже когда заказчик уже был мертв. Кодекс чести. Если взял деньги, работу надо выполнить. Похоже, любит свое дело и даже получает от него удовольствие. Я не знаю его имени, возраста... Мужчина ли он? Женщина?

Оказывается, и это мне неизвестно.

Загорелые девочки легкой стайкой пропорхнули мимо. Та, которая выбрала меня, помахала рукой. Я ответил таким же взмахом. Она улыбнулась. Красивое, дерзкое лицо, хорошая осанка. В порядке девочка. И спереди, и сбоку, и сзади. Так бывает нечасто. Ее подруги засмеялись, оглянулись — видимо, было что-то между ними обо мне сказано... «Смейся, смейся громче всех, милое создание. Для тебя веселый смех, для меня — страдание».

Опять заглянул в себя, прислушался.

Тихо и пусто. Почувствовал себя неуязвимее. Я всегда становился слишком уж зависимым, когда связывался с такими вот... Солнечными.

Часы на руке пискнули два раза — значит, время обеда. Громыкнул запор столовой Дома творчества, и на пороге возникла Наташа — хулиганистая, доброжелательная, которая в свое время кормила всю советскую литературу, всех классиков, лауреатов, секретарей, главных редакторов. И надо же, всех помнит, о каждом может рассказать забавную столовскую историю.

— Кушать подано! — сказала она громким голосом, оповестив пустую, раскаленную под полуденным солнцем площадь, за которой посверкивало мелкой рябью море.

И я шагнул в полумрак пустого зала. Когда-то здесь невозможно было протолкнуться — гудели честолюбивые, возбужденные голоса самых знаменитых людей страны. Да, их было много на челне. Иные парус напрягали, иные пузыри пускали. Их монументальные жены

и юные любовницы, понавезшие нарядов со всего света, не знали, где все это барахло показать.

Показывали в Коктебеле, на этой площади, в этой столовой.

А сейчас... На всем затемненном пространстве столовой я увидел лишь Андрея — какой-то полубанкир, полукиллер приехал отдыхать из Днепропетровска. Мордатый, молодой, замедленный, с молчаливым ироническим пониманием о себе и об остальном мире. Нас рассадили в разных концах зала, словно пометили нами размер громадного помещения. Мы поняли друг друга с первого взгляда. Мы были из одного племени — из обреченных.

Кажется, он тоже спасался. В его глазах я увидел ту же пустоватую печаль понимания, которая, наверное, была и у меня. Солнечные девочки клюют на такие взгляды. Они, глупые, видят совсем не то, что есть, они видят бесконечное, уверенное в себе спокойствие, обеспеченное круизами, лайнерами, островами и прочими прелестями, недоступными для них и потому особенно желанными.

Ошибаются.

Это не спокойствие.

Это пустота.

Когда-нибудь поймут, чуть попозже, чуть попозже, как говорит один мой знакомый следователь прокуратуры. Поймут, когда ничего уже нельзя будет исправить, когда их судьбы приобретут устойчивую необратимость. Впрочем, я не уверен, что им захочется что-либо менять. Канары, круизы, казино... Засасывают и лишают человека естественных, выверенных тысячелетиями ценностей.

Это я уже могу произнести совершенно уверенно.

На первое был суп. Прозрачная жижица с кружочками жира и зелеными пятнышками петрушки. Выхлебал

охотно и даже с удовольствием. На второе — котлета с каким-то неузнаваемым гарниром. Съел только котлету. На третье — компот розового цвета.

Окна со стороны моря так густо заросли диким виноградом, что только изредка в них можно было увидеть просвет. Полумрак создавал ощущение прохлады и свежести.

— Как обед? — спросила Наташа, проносясь мимо с тележкой, на которой позвякивали пустые тарелки.

— Отлично!

— Добавки?

— Нет, спасибо. Чуть попозже.

— На ужин рыба.

— Буду ждать с нетерпением, — заверил я.

Меня вполне устраивало такое питание. Возникло ощущение, что благодаря убогости питания во мне что-то очищалось, шел какой-то благотворный процесс, сути которого я еще не понял. Но сознавал — что-то во мне происходит, идут какие-то непонятные, но желанные превращения.

Одно из окон столовой было свободным от зелени — то ли не успело зарости, то ли его очистили, чтобы хоть немного осветить сумрачный зал. Через это окно я и увидел человека, до боли, до ужаса знакомого мне. Я бросился к выходу, пронесся среди столиков, выскочил на площадь. Но после полумрака зала оказался ослепленным и некоторое время беспомощно стоял в дверях, не в силах сдвинуться с места. Мелькнувшего мимо окна человека я догнал уже за рестораном «Богдан». Некоторое время шел за ним, потом положил ему руку на плечо и круто развернул к себе.

— Привет, Вася! — сказал я и тут же понял, что обознался.

Это был не он, не Вася.

Вася давно мертв.

— Извини, — я виновато развел руки в стороны.

— Бывает, — ответил незнакомый, чужой, ненужный мне человек. Но не улыбнулся, не простил. Похоже, я его напугал.

Когда я вернулся в сумрак столовой и подошел к своему столу, полубанкир Андрей из дальнего конца зала успокаивающе помахал мне полноватой рукой. Дескать, не переживай, бывает. И только тогда я сообразил, что свой обед уже съел и сюда мог не возвращаться.

— Добавки? — снова спросила Наташа.

— Нет, спасибо. Я за плавками вернулся. Плавки за-был на стуле.

В это время даже сентябрьское солнце выжигает с пляжа, с набережной самых отчаянных, самых стойких. На море частая рябь, с Карадага теплый ветер, в киосках полуживые от зноя девочки покорно досиживают оплаченное время. Ни пива, ни газет в это время никто не покупает. Какие покупки — выжить бы! Первые торговцы устанавливают в узкой пока еще тени фанерные щиты, расставляют на них картины, безделушки из раковин и камней, уже знакомый мне старик с седой бородкой расположился у каменной стены «Богдана» с красной, похоже, выточенной из кирпича безрукой Венерой.

Закрыв глаза, почти на ощупь, почти раздвигая руками обжигающие солнечные лучи, я направился к себе, в девятнадцатый корпус, в одиннадцатый номер. Раньше здесь позволено было останавливаться только классикам, имена и портреты многих из них красовались даже в школьных учебниках. Моего портрета в школьных учебниках нет, но кое-где, тоже в типографском исполнении, он имеется в наличии, и серьезные ребята всматриваются в мои глаза настроенно и опасливо. Они надеются, что я умер, но сомневаются. И правильно делают — никто не видел моего трупа. Я его тоже не видел.

На весь корпус нас трое — какой-то молодящийся тип с редкими волосами, выкрашенными в рыжий цвет, инакомыслящий еврей из Нью-Йорка, что-то находящий для себя на этом полудиком берегу, и я — личность без определенных занятий, без багажа, но с деньгами. О том, что я с деньгами, шустрые торговцы прознали на следующий же день и теперь наперебой предлагали мне кольца с местными камнями, фотографии Карадага, керамические подсвечники, пучки целебных трав. Похоже, всех их сбила с толку пустота в моих глазах. Они приняли ее за состоятельность.

И надо же, не ошиблись.

Войдя в прохладный полумрак номера, я закрыл дверь на два оборота ключа, потом закрыл дверь из прихожей, задернул шторы. И только тогда почувствовал себя в безопасности.

— Боже, как хорошо, — выдохнул я, падая раскаленным на солнце лицом в прохладную подушку. — Как хорошо...

Звуки, казалось, исчезли, расплавленные зноем. Сквозь вибрирующие струи воздуха лишь изредка пробились негромкие голоса, ленивый лай собак, визг ошачивленной чьим-то вниманием женщины.

У уличных пробок много недостатков. Тягостное ожидание, рев и вонь перегретых моторов, нервозность, которая как бензиновые испарения пропитывает застывшие в злой беспомощности машины, пустая потеря времени, кажется, лишаящая тебя последнего шанса в жизни. Ты уверен, что, не попади в эту вот пробку, все в твоей судьбе повернулось бы иначе — с обилием радостных встреч и счастливых находок. А теперь вот не будет ни встреч, ни находок, и вообще жизнь пойдет вкривь и вкось.

Много недостатков в уличных пробках — от сгорающего бензина, вместе с которым сгорают твои деньги, до

раздраженности, которая наполняет тебя доверху. Кажется, она стекает по тебе потом, и даже рубашка твоя взмокла от этой человеконенавистнической раздраженности! И кто знает, сколько часов, сколько лет, в конце концов, пройдет, прежде чем ты избавишься от нее и сможешь вздохнуть легко и освобожденно, будто вышел за тяжелые ворота тюрьмы, где томился долго и несправедливо.

Но есть, есть и нечто положительное в этом гнетущем ожидании рядом с перегретым мотором и дергающимся водителем. Хочет того человек или нет, а слова он произносит, слова не только разумные, не только осторожные да продуманные, — всякие слова, разные.

— Москва, она и есть Москва, — негромко произнес пассажир, невидяще глядя в пыльное ветровое стекло, за которым не было ничего, кроме раскаленного воздуха да вздрагивающих от нетерпения машин.

— Это чем же тебе Москва поперек горла стала? — не глядя на него, спросил водитель, чутко уловивший в словах пассажира неприятие города.

— Поперек горла вроде как ничего не стало... А вот поперек дороги... Сам видишь.

— У вас, конечно, лучше, в вашем тмутараканском ханстве? — раздраженно спросил водитель — тощий, фиксатый, небритый.

— Гораздо, — ответил пассажир.

— Везде хорошо, где нас нет.

— Там, где мы, — тоже хорошо.

— Да?! — резко обернулся водитель, опять уловив какое-то унижение. — А где мы — там плохо?

— Как скажешь, — усмехнулся пассажир, выиграв эту маленькую перебранку. Понял это и водитель.

— А пошел ты на фиг! — сказал он и сплюнул в открытое окно.

Они застряли как раз напротив Института Склифосовского. Машины шли в обе стороны, разворачивались,

гудели, над некоторыми уже поднимались прозрачные облачка пара. Проспект Мира почти ничего не отсасывал из этой пробки, со стороны Сретенки, от «Детского мира», с каждой зеленой вспышкой светофора поступали все новые вливания раскаленных машин — бился своеобразный пульс городской жизни.

Пассажир озадаченно посмотрел на водителя, выпятил вперед губы, как бы огорченный откровенной грубостью, несдержанностью собеседника, и принялся рассматривать внутренность машины, уделяя внимание всем тем мелочам и подробностям, которые несколько не интересовали его минуту назад. И вдруг взгляд пассажира остановился на карточке водителя в пластмассовом конвертике. Там значилась фамилия — Здор.

— Так ты — Здор? — спросил он с улыбкой.

— Ну.

— Здорово!

— Это что же тебя так распотешило?

— Первый раз встречаю такую фамилию.

— И последний, — с некоторой горделивостью произнес водитель. — Больше таких нет. Я один — Здор.

— А дети?

— И дети тоже Здоры.

— Или Здорята?

Водитель пожал плечами и тронул машину с места. Проехав метров пять, он опять вынужден был остановиться, оперевшись в широкий зад «пятисотого» «Мерседеса».

— А в той машине наверняка кондиционер, прохлада и полная тишина.

— Там есть еще бар с холодильником, — усмехнулся водитель. — Чтоб они все посдыхали!

— Зачем? — пассажир пожал плечами. — Хорошие ребята. Деловые, четкие, обязательные. Держат слово, не позволяют другим расслабляться. Хочешь такую?

— Что? — протянул Здор с таким выражением, будто ему предложили слетать на Луну.

— Я спросил — хочешь иметь такую же? — спокойно повторил пассажир. В его голосе явно прозвучали равнодушные, невозмутимые и даже некоторая скука, заставившие Здора посмотреть на него уже без насмешки. Он увидел в глазах пассажира именно ту пустоту, которая убеждала — тот не шутит.

— Ты еще спроси — хочу ли я трахнуть Шарон Стоун!

— Не советую.

— Почему?

— Это тебе обойдется во столько же, сколько стоит такая тачка, — пассажир кивнул в сторону задастого «Мерседеса», который перекрывал им все пути, все возможности вырваться вперед. — А там смотри, выбирай чего хочется больше.

— Если у меня будет такая машина, Шарончиха сама в салон залезет. И не захочет вылезать.

— А знаешь, очень даже может быть! — рассмеялся пассажир, откинувшись на спинку сиденья. И в этот момент Здор впервые бросил на него придирчивый, даже подозрительный взгляд.

Тот был явно выше, крупнее водителя, и даже в том, как сидел, чувствовалась раскованность, готовность поступать решительно и быстро. Слова, которые он произносил, тоже подтверждали эту готовность. Пассажир не навязывался со своими истинами, ни на чем не настаивал — и в этом ощущалась сила. Свободный светлый пиджак с подкатанными рукавами, светлые брюки, не штаны, а именно брюки, туфли из плетеной кожи выдавали некую состоятельность. Все на нем было свежее, незаношенное, незастиранное.

— Хочу, — неожиданно сказал водитель, негромко, вроде про себя, но от этого слово прозвучало с некоторым вызовом.

— Что хочешь? Шарон хочешь? Стоун?

— Машину.

— Такую? — пассажир кивнул в сторону «Мерседеса».

— Можно такую. Ты предложил? Отвечаю — хочу.

— Заметано, — пассажир передернул плечами, искося глянул на Здора, и в глазах его впервые за всю поездку сверкнул огонек если не дьявольский, то очень на него похожий. — Заметано, — повторил он уже как бы для себя, прикидывая что-то свое, одному ему известное.

— Когда получать? — Здор поиграл желваками, что могло означать только одно — не верил он пассажиру и если уж ввязался в этот бестолковый разговор, то лишь по одной причине — ткнуть того мордой в собственные пустые слова.

— Значит, так, Здор...

— Михаилом меня зовут.

— Значит, так, Михаил, — невозмутимо поправил сам себя пассажир. — Кстати, меня зовут Игорем. Игорь Выговский. Принимается?

— Сойдет.

— Так вот... Я не трепался. И не надо делать вид, что ты мне не веришь. Веришь. Хочешь такую тачку? Она у тебя будет к концу года. Помолчи! — твердо произнес Выговский, заметив, что Здор опять хочет что-то возразить, перебить, вставить слово злое и бестолковое. — Заметь, я сказал — вот такую. Не лучше и не хуже.

— Это как понимать?

— Понимать надо так... Этой машине не меньше пяти лет,— Выговский кивнул в сторону «Мерседеса». — Значит, и мы с тобой говорим о машине, которая будет примерно в таком же состоянии. В возрасте пяти лет. Во всяком случае, не старше семи.

— Но «пятисотый»?

— «Пятисотый». Если сам к тому времени не передумаешь и не захочешь «жигуля».

— Не захочу.

— Семья? Дети? Квартира? — спросил Выговский.

— Да.

— Дача?

— Да.

— Это хорошо.

— Согласен, дача — это неплохо, — Здор ерничал из последних сил, понимая в глубине души, что он уже во власти этого странного пассажира, которого согласился подбросить на площадь трех вокзалов. В багажнике лежал небольшой его чемоданчик, из чего следовало, что Выговский едет не встречать — он собрался уезжать.

Куда?

Кто его знает!

С площади трех вокзалов можно уехать куда угодно.

— Такая машина в зависимости от состояния... стоит где-то в районе двадцати тысяч долларов.

— Не возражаю! — сказал Здор опять с непонятным раздражением, опять с вызовом.

— Поздно возражать.

— Это как? — дернулся Здор.

— Ты уже согласился. И я согласился. Остались некоторые подробности.

— Какие еще подробности?

— Работа, старик. Работа.

— Что я должен сделать?

— Ничего, — Выговский широко улыбнулся. И опять в его глазах сверкнул огонек сатанинского азарта. — Будем сотрудничать. Вот и все. — Он протянул Здору визитную карточку, вынув ее из нагрудного карманчика пиджака движением легким и неуловимым.

Здор опасливо взял картонку, тронул машину с места, проехал метров пятнадцать, опять уперевшись в «Мерседес». И только тогда вчитался в визитку.

— Председатель правления концерна... — Голос Здора как-то сразу осел, сделавшись сиплым и негромким. — И сколько же народу в этом концерне?

— Уже двое.

— И это... Кем же я буду?

— Начальник транспортного цеха. Годится?

— Хохма, да? — Оцепенение, охватившее было Здора, откатило, и он опять сделался ершистым и усмешливым. Резко вытерев запотевшие руки о штаны, он хохотнул, крутанул головой, как бы изумляясь собственной доверчивости, весело глянул на Выговского, снова тронул машину, проехав еще десяток метров. — Ладно, — сказал он, как бы прощая пассажиру неуместные шутки. — Тебя к какому вокзалу?

— Ярославскому. На Север еду.

— Север — это хорошо, — кивнул Здор одобрительно.

— Наша фирма называется «Нордлес». На карточке написано.

— Красиво звучит.

— Я ведь не случайно к тебе подсел, — сказал Выговский как бы между прочим, будто все сказанное до этого не имело слишком большого значения.

— Да-а-а? — протянул Здор. — Чем же это я привлек к себе внимание?

— Знающие люди посоветовали. Вот, дескать, человек, который тебе нужен.

— И какие же это во мне прелести вдруг обнаружались?

— Они обнаружили не вдруг. Ты ведь бывал на Севере, да? Сколько лет там провел?

— Сколько надо.

— От звонка до звонка? — уточнил Выговский.

— Можно и так сказать.

— Хочешь поехать со мной?

— Пряма сейчас? — Здор и сам не заметил, как кратко спросил, будто одним выдохом. Вроде и усмешливо, вроде анекдот подхватил, но была в его голосе, в вопросе, в быстроте ответа готовность если и не ехать с незнакомцем на Север, то хотя бы обсудить эту затею.

— С билетами проще стало. Поезда ходят полупустые. В купе по одному, по два человека.

— Это если туда ехать.

— Но мы ведь и едем именно туда.

— А назад?

— Как с делами управимся... Через неделю вернемся.

— Много дел?

— И от тебя зависит.

— «Нордлес», говоришь? — это были первые слова, которые Здор произнес всерьез. Он начал понимать, что треп давно кончился, да и вообще, был ли треп между ним и этим роскошным хмырем в пиджаке с подкатанными рукавами?

— Там все написано, — Выговский показал на визитку, которую Здор опасливо положил на приборный щиток, поодаль от себя, словно чувствуя исходящую от нее недобрую силу.

Пробка наконец немного рассосалась, машины медленно, но уже безостановочно двинулись по Садовому кольцу. «Мерседес», который все это время маячил перед глазами, рванул вперед, и ни один «жигуленок», ни один грузовик не осмелились остановить его, поприжать, отеснить. «Мерседес» просто прошел сквозь поток машин, пересек несколько разделительных линий и уверенно свернул к банковским небоскрегам.

— Вот так надо ездить, — сказал Выговский.

Здор молча взглянул в его сторону, отметив про себя ровные зубы, загорелую шею, раскрытый ворот белой ру-

башки, оттеняющий загар. Он ценил в себе этакую при-
блатненную непочтительность, с кем бы ни разговаривал
и о чем бы ни шла речь. И сейчас, понимая, что невольно,
сам того не заметив, попал, все-таки попал в зависимость
к этому роскошному господину, который отправляется на
Север совсем не так, как в свое время отправлялся он,
Здор не мог изменить себе и изо всех сил старался со-
хранить тон.

— «Мерседес», конечно, хорошая машина, — медлен-
но заговорил он. — И Шарончиха неплохая баба... А Ша-
рончиха в «Мерседесе» — это, наверно, вообще полный
отпад... Только вот что... Мне ведь с ней не совладать.

— Почему?

— По той же причине, по которой и ты не совладаешь.

— За себя я спокоен, — посерьезнел Выговский.

— Я тоже за себя спокоен, — Здор почувствовал, что
взял верный тон, и как бы обрел уверенность. — Если
уж называть вещи своими именами, если уж говорить
откровенно...

— На это и надеюсь, — вставил Выговский.

— Не надо, — отмахнулся Здор, осознав вдруг, что
Выговский допустил ошибку. Этими вот простенькими
словами он выдал и свою зависимость от Здора. И все,
что он говорил о Шарон Стоун и «пятисотом» «Мерсе-
десе», действительно могло оказаться просто трепом.
Выговский тоже понял, что промахнулся, его слова, ко-
торые вроде бы должны были польстить Здору, оказались
пустоватыми. — Так вот, — Здор дождался стрелки на
светофоре у Министерства путей сообщения и свернул
влево, вниз, к площади трех вокзалов. — Так вот... Иго-
рек. Я ведь прежними делами не занимаюсь.

— И прекрасно!

Оба сразу почувствовали, что и эти слова слабоваты.

— Не занимаюсь, — повторил Здор. — У меня теперь
другие игры. Если кто указал на меня пальцем... Переда-

вай тому человеку большой привет. — Здор подождал, пока проедет трамвай со стороны Красносельской, свернул круто влево и пристроился у высокой железной ограды рядом с туристским автобусом. — С тебя сто рублей.

Выговский молча вынул деньги, отсчитал десять сотенных купюр и положил их на приборную полку, накрыв ими собственную визитку.

— А теперь слушай. Я ведь всерьез предлагал тебе ехать со мной. Ты работал в леспромхозах. Знаешь местных. Условия. Начальство. Там же не только эки, там и воинские части. Им нужно питание, обмундирование, начальству нужны деньги, хорошие деньги, у них нет техники, горючего... И так далее.

— И пойдут эшелоны на юг? — спросил Здор.

— На запад тоже.

— Там уже ждут?

— Заждались, — Выговский посмотрел на часы. — Так что? Едешь? Время есть.

— В другой раз. Если он будет, конечно.

— А почему ему не быть?

— Мало ли, — Здор склонил голову к тощеватому плечу. — Жизнь богата в своих проявлениях. То морду покажет, то зад... И не знаешь, что лучше. Вроде и морда — но оскаленная. Вроде зад — но добродушный и незлобивый... Так кто на меня-то вывел?

— Не скажу! — Выговский рассмеялся. — Как это в песне поется... Пусть останется глубокой тайною.

— Нет ничего тайного, что бы не стало явным.

— Ого! — восхитился Выговский. — Библию считаешь?

— С ментами общаться пришлось. Чуть ли не каждый следователь мне эти слова приводил. И я поверил — правду говорят.

— До скорой встречи! — Выговский протянул руку.

— Бог даст, свидимся, — узкая ладошка Здора утонула в широкой лапе Выговского. Была она, несмотря на жару, прохладной, и Здор явственно почувствовал властность, таившуюся в этой ладони. Женщины, должно быть, это чувствуют острее, или лучше сказать, обреченнее. Здор не пытался сопротивляться сильному пожатию Выговского, лишь усмехнулся про себя — знал он таких вот красавчиков, которые не упускали случая показать свое превосходство, в чем бы оно ни заключалось. Выговский увидел его скрытую усмешку и поспешно ослабил рукопожатие — это тоже была ошибка. Не надо бы ему вот так сразу настаивать, давить, возвышаться.

Когда он вышел из машины и затерялся в толпе, махнув на прощание высоко поднятой рукой, Здор поднес ладонь к лицу, понюхал и ощутил сладковатый запах — так пахнут арабские духи, в них всегда есть приторная сладковатость. Это его озадачило — у Выговского должен быть другой запах, не столь откровенно женский.

Золотой змей на шпиле Казанского вокзала сверкал в розоватых лучах закатного солнца, возле универмага «Московский» толпились люди, зазывалы через динамики приглашали посетить могилу Высоцкого, могилу Пахомовой, могилу Квантришвили, могилы Листьева и Миронова, побывать среди могил Ваганьковского, Новодевичьего и еще каких-то кладбищ. Казалось, люди только для того и приезжали в Москву, чтобы побродить среди могил, будто больше здесь смотреть-то нечего, заняться нечем, среди живых и повидать-то некого. И надо же — лезли в автобусы тетки с сумками, пацанье в джинсах, девицы в таких коротких юбках, что каждый желающий мог оценить красоту и изысканность их ягодичных складок.

Как же — в Москву приехали!

Не лыком шиты!

Здор сидел за рулем, не прикасаясь ни к визитке Выговского, ни к его деньгам. Он не решался сунуть их

в карман, словно ждал какого-то ему одного понятного разрешения, знака, сигнала.

— Слово предоставляется начальнику транспортного цеха, — пробормотал он. — Интересно. Жизнь, выходит, не кончилась... Жизнь, выходит, еще только начинается.

Неожиданно в боковое стекло раздался резкий частый стук — наклонившись и покраснев от натуги, в салон заглядывал толстый мужик.

— Свободен? — спросил он.

— Пока свободен, — усмехнулся Здор, открывая дверцу машины.

— Что значит пока? — требовательно спросил мордастый, видимо, боясь московского подвоха.

— То и значит. Неизвестно, останусь ли свободным завтра. А сегодня свободен, о чем и докладываю. Чисто-сердечно и искренне.

— На Ваганьковское отвезешь?

— Отвезу. А что там, на Ваганьковском?

— Высоцкий.

— Это который поет?

— Он и песни поет, он и горькую пьет, и еще кое-чем занимается, — жизнерадостно рассмеялся толстяк, падая на переднее сиденье. — У меня два часа до поезда. Успеем?

— Смотря сколько будешь на могиле комлать.

— Минут пятнадцать надо потолкаться, потоптаться... А?

— Тогда успеем.

— А что это у тебя деньги на виду? — толстяк показал на пачку сотенных. — Нехорошо. Деньги не любят открытого пространства. Они в темноте размножаются, в помещении тесном, в воздухе затхло. От сквозняков дохнут. Улетучиваются.

— Согласен. — Здор сложил купюры пополам и сунул их в карман.

— И на пуговицу застегни, — напомнил толстяк.

— Застегну, — усмехнулся Здор. Он дождался знака, который позволил бы ему взять деньги. Визитку сунул в тот же карман. И тронул машину с места.

— Только мне и назад надо.

— Успеем.

— Две сотни хватит?

— Три.

— Две с половиной! — Толстяк напряженно уставился на Здора.

— Пусть так, — Здор почувствовал, что ему совершенно безразлично, сколько денег даст ему этот любитель Высоцкого, да и даст ли вообще. Откуда-то из прошлого дохнуло ветром холодным и тревожным. И леспромхоз, промерзшие стволы деревьев, снег по пояс, визг пил — все это вдруг приблизилось, окружило его, сдавило со всех сторон. Он, кажется, даже ощутил запах мерзлой древесины. — Ох, недоброе чует мое сердце, — пробормотал он вслух. — Ох, чует мое бедное сердце...

— Что? — насторожился толстяк. — Пробки на дорогах?

— Пробки бывают только в бутылках! — зло и весело ответил Здор. — Да и то не во всех. Только в полных, мужик, только в полных!

Проснулся я, когда солнце уже приблизилось к острым шпилям Карадага. Жара спала, и снова зазвучали в парке Дома творчества человеческие голоса. Некоторое время лежал неподвижно, глядя в потолок и прислушиваясь к звукам, которые просачивались сквозь двери лоджии. В соседнем ресторане уже загрохотал оркестр — к ночи он наберет такую силу, что будут дребезжать мои окна и колыхаться шторы. Будут истерично и натужно визжать женщины, уверенные в том, что наступила наконец и для них настоящая жизнь с застольями, ночными

купаниями и танцами до упаду. Я уже убедился — визжат в основном полненькие такие, с тяжелыми ногами тетеньки на пятом десятке, дорвавшиеся до счастливых времен. Их кавалеры — молчаливые мужички с крутыми плечами и натруженными руками.

Рядом Донбасс.

Эти тоже дорвались.

Я вышел на лоджию.

Внизу, мимо подъездов прогуливались мамы с детишками. Они встревоженно, даже с каким-то благоговением поглядывали на окна — как же, Дом творчества писателей, здесь создаются художественные произведения. Как-то встретил плакатик... «Тише, тише, тише, тише! Кто-то где-то что-то пишет». В этом Доме давно уже никто не пишет.

Отписались.

Миновали счастливые времена, когда государству требовались их творения, а они эти творения поставляли обильно и в срок.

Пришли другие времена.

Прежние читатели уже не могут купить книг, не по карману, а пришедшие им на смену другие читатели потребляют исключительно криминальные романы. А эти криминальные романы тоже, оказывается, не столь уж простое дело, прежняя сноровка не выручает, опыт по созданию производственных произведений не годится совершенно. Далеко не каждому удастся нащупать тонкую грань между собственной ограниченностью и детективной занимательностью. Да, большие таланты терпят сокрушительные поражения и признают полнейшую свою несостоятельность. То-то они, бедные, озадачены, то-то они, бедные, сконфужены.

Слышал я здесь их причитания после третьего стакана на каберне. Делился как-то один классик наболевшим. «Столько, говорит, кровящи подпустил в свою рукопись,

столько трупов навалил почти на каждой странице! А какая, говорит, у меня постель в романе! Какая изысканная порнуха! Не говоря уже о том, что можно все тонкости мата изучать по каждой главе... И надо же — отвергли, подлые! Значит, маловато крови, значит, недостаточно трупов!» И слезы отчаяния, оскорбленности, слезы непонимания и обиды катились из его маленьких, но чрезвычайно выразительных глаз.

Мне нужно было продлить срок моего пребывания. Дом творчества был почти пуст, и я надеялся, что сложностей с этим не будет. Одноэтажное административное здание было рядом, и, заперев двери на все обороты ключа, я направился к директору.

Сумрачный прохладный вестибюль был пуст. Стены украшали две громадные картины. На одной были изображены Золотые ворота — продырявленная скала в море, на второй почему-то подмосковный заснеженный лес. Видимо, какой-то живописец расплатился картинами за свое здесь пребывание.

— Можно? — заглянул я к директору.

— Входи! — Леонид Николаевич гостеприимно махнул рукой. — Как отдыхается?

— С каждым годом все лучше.

— Коньячку?

— Можно, — я присел к приставному столику.

Леонид Николаевич был плотен телом, улыбчив, подвижен. Что-то простецкое сквозило в его манерах, что-то простоватое — похоже, не всегда он был большим начальником, не всегда командовал отдыхом классиков и лауреатов.

Пока директор ходил к шкафу за коньяком, я по привычке, по прошлой своей, наверно, уже невытравляемой привычке, скосил глаза в его ежедневник. Телефоны, даты, имена...

И вдруг...

Изморозь, иначе не скажешь, изморозь пробежала зябкой волной по всему моему телу — я увидел в блокноте собственную фамилию. Не ту, под которой жил здесь, не ту, под которой мотался по белу свету, я увидел в блокноте обведенную овальной линией собственную свою, истинную фамилию.

— Наш коктебельский поэт сказал потрясающие слова, — Леонид Николаевич возник из-за моей спины, поставил на стол бутылку, две маленькие хрустальные рюмки и сел напротив.

— Хорошие слова? — единственное, что я мог произвести в эти секунды.

— Я пью божественный напиток — коньяк с названием «Коктебель». Он будто драгоценный слиток... Ну, и так далее.

— Знаю, — сказал я. — Слава Ложко. Эти стихи выбиты в его ресторане на гранитной плите... Позвоню?

— Конечно, — Леонид Николаевич радушно махнул рукой в сторону телефона.

Я встал, обошел вокруг стола, сел в начальственное кресло, придвинул к себе телефон, заодно, как бы между прочим, придвинул ежедневник и, наугад потыкав пальцем в первые попавшиеся кнопки, склонился над блокнотом.

Так и есть.

Моя фамилия записана на странице, помеченной сегодняшним днем. Я редко слышу удары собственного сердца, но сейчас почувствовал. Частые, сильные удары, от которых, кажется, прогибалась грудная клетка.

— О! — воскликнул я радостно, тыча пальцем в ежедневник. — Этот товарищ тоже приезжает?

— Который? — Леонид Николаевич склонился над блокнотом, вчитался в мою фамилию и равнодушно махнул рукой. — Да нет... Кто-то спрашивал, не отдыхает ли у нас этот человек.

— И что? Отдыхает?

— Я обещал уточнить. Завтра опять будут звонить.

— Откуда?

— Даже не знаю, — Леонид Николаевич был беззаботен и разливал золотистый коньяк недрогнувшей своей мощной рукой. — Вроде междугородний звонок. А ты что, знаешь его?

— Встречались, — ответил я со все еще колотящимся сердцем.

— Водку пили?

— Было.

— Если водку пили, значит, почти родня. Знаешь, как говорят в Большом театре?

— А как говорят в Большом театре?

— Хочешь пить — пей. — Леонид Николаевич расмеялся, поднял свою рюмку, мы чокнулись.

Все у нас получилось прекрасно. Коньяк оказался отличным, Леонид Николаевич наполнил рюмки снова, и жизнь продолжалась, мы весело обсуждали писательские проблемы, хохотали, хлопали друг друга по плечам, а за окном садилось солнце, спадала жара, слышались приморские людские голоса, которые, конечно же, звучали совсем не так, как звучат городские, учрежденческие, трамвайные, хотя могут принадлежать они одним и тем же людям.

Да, жизнь продолжалась, но была она уже другого цвета. В окружающую голубизну вдруг влились черные разводы. Они постепенно таяли, растворялись, исчезали, но общий тон неба и моря, общий тон околосолнечного слепящего пространства приобретал явно сероватый оттенок.

Это что же получается?

Вычислили, нащупали, засекли, установили, обнаружили?

Значит, все-таки услышал тогда кто-то мое неосторожное слово «Карадаг». Я хотел спросить у Леонида

Николаевича еще что-то о звонившем, но остановился. Делать этого было нельзя — я уже задал все вопросы, которые казались бы уместными и естественными. Наверняка звонили не только сюда — звонили в пансионат «Голубой залив», на турбазу, в агентство по подбору частного жилья...

— Еще по глоточку? — спросил Леонид Николаевич.

— Нет, спасибо. Хорошего понемножку, — я поднялся. — Надо увидеться с одним человеком.

— Уже есть с кем? — усмехнулся директор.

— Надеюсь, — я неопределенно повертел ладонью в воздухе — дескать, как знать, как знать, что ждет нас этим вечером, какие неожиданности готовит для нас жизнь.

— Ну что ж, заходи! — Леонид Николаевич пожал руку и тут же забыл обо мне, потянулся к телефону — директорские обязанности не заканчивались никогда.

Я вышел на крыльцо, постоял некоторое время, раскачиваясь с пяток на носки. Руки мои были в карманах шортов, на глазах темные очки, на голове кепка с большим курортным козырьком, на ногах поношенные шлепанцы — ничего не осталось от того роскошного хмыря, которым я был совсем недавно.

Сойдя с крыльца, я медленно пошел, никуда не сворачивая, и через полсотни метров уперся в бывший летний кинотеатр. Сейчас здесь показывали обезьян, змей, пауков и прочую нечисть. Посетителей не было, обезьяны протягивали сморщенные, натруженные ладошки, змеи смотрели немигающе, решив, видимо, про себя, что не все кончено, что они еще сумеют что-то там доказать, что-то там утвердить...

Короче, я испытывал нечто похожее.

Подобьем бабки.

Вывод первый — обо мне не забыли, меня ищут. Знает, кто-то получил заказ. И намерен этот заказ выпол-

нить. Вряд ли он знает, что заказчика уже нет в живых. Это не имеет значения. Аванс получен — надо отработать. Всегда найдется тот, кто заплатит остальное.

Вывод второй — он знает, где искать.

Вывод третий — я узнал об этом своевременно. Значит, не поздно еще кое-что предпринять. Звонок был междугородний, следовательно, у меня есть немного времени.

Но возникает еще одно соображение — звонил диспетчер, а исполнитель уже здесь. В таком случае он не знает меня в лицо и запросил поддержки. Однако он не может не знать обо мне совершенно ничего, какие-то зацепки у него наверняка есть. Может быть, их оказалось недостаточно, может быть, по этим зацепкам он не смог меня установить...

Да, это наиболее вероятный вариант.

Звонить наобум и спрашивать случайных людей, называя фамилию...

Это слишком зыбко.

Это слабо.

Это, в конце концов, непрофессионально. Так не делается. Человек высылается по адресу и отработывает то, что ему положено.

Вывод последний и главный — исполнитель уже здесь, в Коктебеле, но пока в растерянности. Я еще не на мушке.

Вполне возможно, я уже пил с ним, трепался о чем-то, как-то себя выдал. Но хорошо хотя бы то, что знаю наверняка — он здесь. Он бродит со мной по одним дорожкам, нежится на одном пляже, может быть, даже питается в одной столовой. Уж не сидит ли он со мной за одним столом?

В столовой за моим столиком оказался новичок.

— Не возражаете? — спросила Наташа.

— Нет, не возражаю.

— Он каждый год приезжает.

— Тем более, — сказал я. Если приезжает каждый год, значит, его-то опасаться не надо.

Напротив меня сидел человек с голубыми блеклыми глазами, худощавый, лысоватый, с мозолистыми ладонями. Но это была не натруженность землекопа или могильщика, скорее натруженность спортсмена. Взгляд цепкий, немигающий, пристальный. У исполнителей таких не бывает. Исполнители благодущны в общении, расслаблены и снисходительны. Они-то знают, что последнее слово всегда за ними. У них нет надобности что-то доказывать, отстаивать, утверждать. Они улыбочиво и охотно соглашались со всем, что им говорят. Сочувственно и согласно кивают и уже высматривают на тебе ту самую точку, то самое местечко, в которое удобнее всего...

— Алевтин, — мой сосед протянул руку через стол. — Это не фамилия. Это имя.

— Очень приятно. Евгений.

Я уже давно заметил, что представляться чужим именем всегда легче и проще, чем собственным. Называя истинное свое имя, ты уже берешь на себя какую-то ответственность, уже вынужден отвечать за слова и поступки. А так, что бы ни сморозил, как бы ни поступил, к тебе это не пристанет, как не пристанет чужое тебе, может быть, даже ненавистное имя.

— Или просто Лева, — продолжал представляться сосед.

— Со мной можно поступить точно так же. Каждый раз произносить Евгений... Тягостно, долго, глупо.

— Согласен! — весело подхватил мой новый знакомый и принялся за свой ужин. Котлету он резал ножом, старательно укладывал отрезанный кусочек на вилку и уже с вилки захватывал губами. Точно так же он поступал и с кашей. Смотреть на него было занятно — на кончик ножа он подцеплял ком каши, перекладывал его

на вилку и только после этого отправлял в рот. По его представлениям, это, очевидно, должно было говорить о хорошем воспитании и знании изысканных манер. Из чувства противоречия я к ножу не притронулся вовсе. Передавливал котлету вилкой, вилкой загребал кашу и прекрасно при этом себя чувствовал.

— Надолго? — спросил я.

— Две недели. Больше нет смысла. Погода испортится, похолодает, задуют осенние ветры, и Коктебель, как таковой, исчезнет.

— Журналист?

— Как догадался?

— Писатели более церемонные, самоуглубленные, преисполненные величия и неповторимости.

Алевтин весело, даже с какой-то надсадностью рассмеялся — ему было приятно слышать о писателях нечто уничижительное. Видимо, не всегда отношения с писателями, если таковые и были, складывались у него легко и просто.

— Но книги у меня есть, — Алевтин поднял вилку зубьями вверх, как бы подчеркивая значение своих слов, дескать, и мы не хухры-мухры.

— Да-а-а? — удивился я, наполнив свой голос восторгом и обожанием. — О чем?

— Как тебе сказать, — он раздумчиво подцепил ножом и положил на вилку комочек каши, отправил ее в рот, не торопясь принялся жевать. — Всевозможные необычайные проявления человеческой жизни.

— Но это опасно? — прикинулся я полным дураком.

— Случается, — кивнул он с некоторой скорбью. Замер на какие-то секунды, и его остановившийся взгляд, похоже, был устремлен в прошлое, где было ему тяжело, где подстерегали опасности и жизнь висела на волоске. — Афганистан, Чечня, Чернобыль — это все этапы моего пути, — Алевтин печально улыбнулся, чуть

развел ладони в стороны, мол, тут уж ничего не изменить.

— Завидная судьба!

— Знаешь, завидной она стала, когда я убедился, что выжил.

— Таких людей встретишь не часто, — я из последних сил подыгрывал моему соседу, чувствуя, что это у меня получается — любой восторг, самый хилый, он заглатывал не раздумывая.

— Могу похвастаться, — он цепко посмотрел на меня, словно прикидывая — стоит ли делиться заветным. — Могу похвастаться — я считаюсь участником Афганской войны, имею удостоверение чеченской кампании, получаю пособие как пострадавший от Чернобыльской катастрофы, а кроме того — являюсь почетным космонавтом.

— А так бывает?

— Со мной вот случилось, — он недоуменно пожал плечами, словно удивляясь собственной судьбе. — Представляешь, вызывает редактор, Анатолий Владимирович, и говорит... Предстоит, говорит, небольшая командировка... На орбиту.

— И что?

— Пришлось слетать. Ненадолго, правда, недели полторы был с ребятами. Сдружились мы — отпускать не хотели, запрос посылали в Центр управления полетами... Но, сам понимаешь... Пришлось вернуться. Но на Землю-матушку насмотрелся из космоса вволю. Уж теперь-то я знаю, где мы живем.

— А это... Чернобыль? Неужели облучился?

— Врачи не признают, но я-то чувствую, — Алевтин смотрел сквозь меня, смотрел прямо в радиационное пространство и, похоже, видел себя, неукротимого, в недрах четвертого блока Чернобыльской станции. — Повидал я кое-что на этой земле.

— Притомился?

— С чего ты взял?

— Ну, если приехал сюда дух перевести, на камушках полежать, в волнах поплескаться... Значит, возникла надобность?

— Знаешь, возникла! — охотно подхватил он, уловив в моих словах почтение, признание его усилий. — Захотелось смены впечатлений.

— Понимаю, — кивнул я. — Как это мне близко!

— А сам откуда?

— Кемерово. — Это был город, о котором я не знал ровным счетом ничего. Вроде угольный край, вроде сибирский, кажется, там что-то с шахтерами происходило.

— Писатель?

— Журналист.

— Ага, — кивнул он, подбирая губами с вилки очередной комочек каши. — Наш человек. О чем пишешь?

— Криминальная революция, нашествие преступных группировок, заказные убийства, — на эту тему я мог говорить бесконечно с прекрасным знанием материала и таких подробностей, о которых наверняка ничего не слышал мой новый друг Алевтин.

— Как и везде, — сочувственно произнес он. — Как и везде, — повторил Алевтин, кивая и пережевывая кашу. — Вроде и печально, но, с другой стороны, — какой всплеск чувств, впечатлений, потрясающих историй, судеб, характеров!

— Может быть, может быть, — мне подобные мысли не приходили в голову, и ответить сразу я не смог. Но что-то во мне воспротивилось, пришло ощущение, что истина в другом месте, что его слова если и не фальшивы насквозь, то какие-то надуманные, произнесенные для красоты разговора. Уж кому-кому, а мне-то хорошо известны и чувства, и судьбы, и характеры криминальной жизни.

— Не согласен со мной? — напористо спросил Алевтин, припадая грудью к столу, чтобы поглубже заглянуть мне в глаза и высмотреть там как можно больше, даже такое, что и мне самому неизвестно.

— Мне кажется, что суетная, насыщенная жизнь...

— Только такая и может называться жизнью! — воскликнул Алевтин с каким-то непонятым подъемом и даже глазами сверкнул.

— Возможно.

— Извини, я тебя перебил, — он приложил к груди ладошку, натруженную штангами, штурвалами, скафандрами, перископами и чем-то там еще.

— Да? — удивился я. — А о чем шла речь? — Когда меня перебивают, я не пытаюсь закончить. Не потому, что так уж обидчив и самолюбив, вовсе нет. Причина другая. Просто оборванные слова уже не имеют смысла. Они были уместны именно в эту секунду разговора, когда в воздухе еще звучало эхо от предыдущих слов, сказанных кем-то. А когда прошло время и о тебе вспомнили, позволили закончить начатое... Оно уже никому не нужно и не представляет никакого интереса. И прерванные анекдоты я не заканчиваю по той же причине. И до споров, когда тебя яростно перебивают, доказывают, убеждают, я не охотник. Мне кажется, еще никто никого ни в чем не убедил. Человек может принять чужую точку зрения, но вовсе не потому, что с ней согласился, скорее, ему просто надоел спор.

— Ты начал говорить о жизни, — напомнил Алевтин.

— А, да... Так вот, мне кажется, что суетная жизнь как раз и не располагает к чувствам и переживаниям. Не до этого. Справиться бы с событиями, поспеть за переменами. А отпереживаем, отмаемся, отчувствуем как-нибудь потом, когда выпадет свободное время.

— Ошибаешься! — закричал Алевтин с таким азартом, что два-три постояльца Дома творчества, которые

к этому времени расположились в разных углах столовой, посмотрели на нас с некоторым любопытством. И даже полубанкир-полукиллер махнул полноватой рукой из темного своего угла, где он сидел так, что мог отстреливаться, не опасаясь удара с тыла.

— Привет, — я тоже помахал ему рукой.

— Кто это? — спросил Алевтин.

— Киллер.

— Кто?!

— Наемный убийца. Просаживает гонорар в этих тихих местах. Если нужен — могу познакомить. Берет немного, расплата по факту.

— Это как — по факту?

— После выполнения заказа.

— А если я откажусь платить?

— Тогда тебя он уберет бесплатно.

— Крутой мужик, — словоохотливость Алевтина заметно снизилась. — Опасный.

— Почему? — Я пожал плечами. — Ничуть. Соблюдай законы бытия. Вот и все. Никто тебя не тронет.

— Какие законы?

— Не укради, не обмани, не предай... Расплатись своевременно и сполна. Простые законы человеческого общения. Только в обычной жизни за невозвращенный долг ты кого-то матом посылаешь или в подушку рыдаешь. А здесь все несколько жестче. Но законы те же. Как и тысячу лет назад.

— В страшное время мы живем, — проговорил Алевтин, глядя в густую зелень за окном.

— Время всегда было такое. И всегда будет таким. Пока есть мужчины и женщины, богатые и бедные, пока есть блуд, любовь и деньги. Только сейчас нашему брату журналисту позволили выплеснуть все это на страницы газет, на экраны телевизоров...

— Я вижу, наскучили тебе криминальные темы?

— Ничуть... Хочешь случай расскажу?

— Ну?

— Пришел мужик к другу в гости. Выпили. Не хватило. Хозяин пошел за бутылкой. Возвращается — друг трахает его жену. Заглянул в свою родную спальню, а они там враскорячку. Он тихонько прикрыл дверь, вышел на кухню, открыл бутылку, выпил. Подождал, пока в спальне перестанут покряхтывать, пока закончат. Входит на кухню друг. В трусах. Спрашивает — принес водки? Отвечает — принес. И наливает ему. Тот взял стакан, запрокинул голову, чтобы выпить. Хозяин преспокойненько в беззащитное его, зацелованное горло всаживает кухонный нож. Хороший нож, немецкий. Больше тысячи рублей стоит. Ручка черная, с заклепками, лезвие в сечении клином. Массивный такой нож, у самой ручки широкий, сантиметров пять, наверно, не меньше. Ну, может быть, четыре,— я продолжал рассказывать о ноже, приводя все новые и новые подробности, будто происшедшее не столь уж и важно, а главное — качество ножа, его внешний вид, название фирмы и прочее.

— И что? — не выдержал наконец Алевтин.

— Ничего. Они с женой до сих пор пользуются этим ножом. Нож-то хороший, я сам его подарил.

— А тот? Его приятель?

— Помер. Тут же, на полу. Подергался немного, будто от наслаждения неземного, которое испытывал совсем недавно на чужой бабе. И затих.

— И что? Чем все кончилось?

— Живут, как и прежде.

— Морду жене набил?

— Нет. Только спросил — ну и как?

— А она?

— Средненько, говорит. Ничего, живут. Когда нож на столе оказывается — оба улыбаются, затаенно так, будто вспоминают что-то забавное.

— А труп?

— С балкона сбросили.

— А кровь?

— Смыли.

— И им... Ничего?

— А что им? Семья только укрепилась, они теперь как бы повязаны общей тайной.

— Подожди, подожди! — зачастил Алевтин, отчего-то заволновавшись. — Но ведь должно быть следствие, милиция, обыск... Ничего этого не было?

Я допил свой компот, махнул рукой полубанкиру Андрею — он уже уходил из столовой, проводил взглядом молодящегося криворотого писателя с кожаным ремешком через лоб и с теннисной ракеткой под мышкой.

— Слушай, ты не ответил! — напомнил Алевтин.

— Насчет милиции? А... Я забыл сказать — у них шестой подъезд, рядом мусорка. Они спустились вниз и запихнули труп в мусорный ящик. Мужик тот, сластолюбец, тощеватым оказался, поднять его было нетрудно, тем более вдвоем. А увозят ящики рано утром, еще затемно. Все было проделано очень хорошо.

— Надо же.

Облученный жизнью журналист Алевтин, взяв стакан и отставив в сторону мизинец, что опять же должно было говорить о тонком воспитании и знании хороших манер, принялся прихлебывать мутноватый компот — причмокивая губами и со взором, обращенным куда-то внутрь. Видимо, сначала он проникался вкусом, а потом наслаждался послевкусием.

Для меня было ясно — не он.

Я вышел из столовой и сразу оказался в толпе — небольшая площадь была, как обычно к вечеру, забита народом. Здесь торговали, пили, приплясывали — жизнь в Коктебеле хотя и затухала к осени, но все-таки продолжалась. Мимо пропорхнула стайка уже знакомых

мне загорелых девочек с пляжа, но меня они не заметили, я стоял в глубине, под балконом, нависавшим над входом в столовую. Вид у девушек был озабоченный, даже заговорщицкий — видимо, намечался неплохой вечерок.

Наверное, так бывает в жизни, не часто, но случается — все получалось, все стыковалось, недостающие люди, даже недостающие деньги вдруг появлялись неизвестно откуда, как бы из ничего. Словно какие-то таинственные силы взялись помогать и помогали неустанно, изо дня в день. Стоило возникнуть самой маленькой трудности — она тут же испарялась, исчезала сама по себе. Все было настолько естественно, что ни у кого мысли не возникало о чем-то необычном, никто даже не заподозрил, что происходит нечто странное, что так быть не должно, как не должен уноситься ввысь подброшенный камень. Да, он летит, удаляясь от земли, но никому и в голову не приходит, что это будет продолжаться бесконечно. Совершенно очевидно, что камень будет замедляться, что рано или поздно на какое-то короткое время вообще остановится, застынет в воздухе, а потом начнет падать вниз, все быстрее, быстрее, пока не грохнется в пыль, в грязь, в болото, на кучу таких же камней и уже тогда застынет навсегда.

А пока камень уносился в небо.

Выговский выполнил свое обещание и позвонил Здору откуда-то из северных лесов — у него все шло отлично. Он договорился в местном леспромхозе о покупке древесины, начальник какого-то лагеря тоже пообещал подключить своих зэков к лесоповалу, а на заброшенной железнодорожной станции его заверили, что готовы отправить эшелоны с лесом хоть к черту на рога.

Здор встретил Выговского на Ярославском вокзале. Ничего, казалось бы, не изменилось ни в их внешности,

ни во взаимоотношениях — чужие, едва знакомые люди, которые и провели-то вместе что-то около часа. Водитель и пассажир. Но странное дело — они встретились как давние соратники, которых связывали общие дела, общие планы и надежды.

Признавая за Выговским неподтвержденную еще силу, Здор распахнул перед ним дверцу машины.

— Прошу!

Выговский ничуть не удивился, принял как должное, более того, будто и не заметил этого не то лакейского, не то куражливого поступка Здора. А тому и не надо было, чтобы это как-то отмечалось или замечалось.

— Все в порядке? — спросил он, включая мотор.

— Да, — рассеянно ответил Выговский, все еще пребывая, видимо, в вагонной тряске. — А здесь? Жизнь не остановилась?

— Бьет жизнь. Ключом. По одному месту.

— Это хорошо, — ответил Выговский. — Значит, жизнь продолжается. И будет продолжаться еще некоторое время.

Вроде и простые слова, самые что ни на есть обычные, но, оглядываясь из будущего, в них легко увидеть и нечто роковое, чуть ли не мистическое, когда многих уже не стало, а выжившие чувствовали на себе какую-то угнетенность, а то и обреченность. Но до этого еще далеко, так далеко, что можно было спокойно верить — никогда не наступит время смертей, крови, убийств. Нет-нет, такого не случится, и этот вот солнечный день, полный успеха и победного состояния духа, будет продолжаться всегда.

— Куда едем? — спросил Здор.

— К тебе.

— Понял.

Тоже какой-то странный разговор. Никогда Здор не приглашал к себе этого едва знакомого человека, а Вы-

говский всего минуту назад думать не мог, что вот так легко наприсится к Здору.

— У тебя никого нет в Новороссийске? — спросил Выговский.

— Нет... Но у моего соседа есть вроде кореш в тех краях... — утверждаясь в своих смутных воспоминаниях, ответил Здор. — Если я ничего не путаю, то у него в Новороссийске не просто кореш, а двоюродный брат.

— И чем он занимается?

— В порту работает.

— Кем? — Голос Выговского дрогнул.

— Если не ошибаюсь... Если ничего не путаю...

— Ну! Ну! — поторапливал Выговский, которого вдруг охватило нетерпение, он вдруг осознал, что от ответа Здора сейчас многое зависит, что в эти самые секунды, пока они стоят перед красным светофором, решается многое, может быть, решается все.

— Сдается мне, что охранником.

— И что же он охраняет? — нервно спросил Выговский.

— Порт, — Здор пожал плечами — действительно, что можно охранять в порту.

— Ладно, — кивнул Выговский. — В конце концов, это неважно. Как фамилия твоего соседа?

— Мандрыка.

— О боже!

— Он не виноват. Папа с мамой ему такое устроили. Но это только с непривычки. Посмотришь на него и сразу поймешь — другой фамилии у него быть не может.

— Пьет?

— Только шампанское.

— Тогда мы сойдемся.

— Меня возьмете?

— Куда?

— В вашу компанию, — Здор усмехнулся.

— Ты уже взят. Будешь проезжать мимо магазина — останови. Надо купить шампанского. Мандрыка будем угощать.

— Его фамилия Мандрыка, — поправил Здор негромко, но твердо. С ударением на букве «ы». Видимо, с соседом отношения у него были уважительные.

— Шуток по поводу своей фамилии он не допускает?

— Упаси боже. Вернее, так... Пошутить он может. Но никогда об этом не забудет.

— Завтра вылетаем в Новороссийск.

— Зачем? — дернулся Здор.

— С охранником будем знакомиться.

— Человечек-то он... Вроде того, что мелковат, — Здор попытался отговорить Выговского от столь решительного поступка.

— Таких не бывает. Ты вот тоже мелковат?

— Как сказать, — протянул Здор многозначительно. — Смотря по чему судить.

— По заднице предлагаешь?

— Ха! — весело ответил Здор, почувствовав, что ничего не отменяется, все остается в силе, и «Мерседес» вполне может оказаться у него в гараже. А ведь боялся поверить, маялся и терзался — вдруг розыгрыш, вдруг дурацкая хохма, вдруг подлянка. Впрочем, подлянка еще возможна, она всегда возможна, сколько бы ты ни прошел с человеком.

— Зубы тебе менять надо, — после долгого молчания проговорил Выговский, глядя на дорогу.

— Это чем же тебе мои зубы не по нраву? — дернулся Здор, как от удара.

— Плохие зубы, старик, это...

— Ну?!

— Это плохо. От тебя зэком несет за километр.

— Поищи другого.

— Заткнись. Тебе люди не поверят, понял? С тобой дела никто не захочет иметь.

— Это почему же?!

— Потому что ты фиксатый.

— А у тебя все зубы на месте?

— Не все, — спокойно проговорил Выговский, все так же неотрывно глядя на дорогу. — Но этого никто не знает. Кроме меня. И еще, старик, открою одну тайну... Шарон Стоун не любит фиксатых. Их, честно говоря, никто не любит. Возвращаемся из Новороссийска — отведу тебя к одному мужику. Он за месяц с тобой разделается.

— Это в каком смысле?

— Вставит приличные зубы. Такие, что твоя Шарончиха ничего и не заподозрит. Она просто обалдеет от твоей улыбки.

— Сказал слепой — посмотрим, — буркнул Здор.

— И еще, старик... Забывай потихоньку свои зэковские прибаутки. Не потому, что они мне не нравятся. Я стерплю. Я все что угодно стерплю. Но мы затеваем дело, которое требует других слов. Лучше уж просто молчать, чем кидаться такими хохмами. Сказал слепой — посмотрим, сказал немой — расскажем... Не надо. Не обижайся, я говорю по делу.

— Молчать так молчать, — Здор дернул плечом, но видно было — обиделся. И, заметив это, Выговский примиряюще похлопал его по коленке.

— Оружие есть?

— Что?!

— Слушай, что ты все дергаешься? Что ты от каждого слова вздрагиваешь? Держи удар, старик. Держи удар. Какой-то ты пугливый. Всегда такой?

— Нет у меня оружия.

— Ни холодного, ни горячего?

— Монтировка вон под ногами. Хочешь, назови ее горячей, хочешь — холодной. Ты как хочешь назови...

Может, для кого-то летная погода, может, это проводы любви, — нескладно пропел Здор и весело глянул на Выговского, давая понять, что не обижается. — А что, нужно оружие? Достанем.

— Не надо.

— Смотри, а то могу.

— Не надо, — повторил Выговский. — Хорошего не достанешь, а плохое нам не нужно.

— Почему хорошего не достану? — опять взвился Здор и заиграл тощеватыми своими желваками.

— Хорошее оружие — это значит чистое, немеченое, незапятнанное, не замешанное в кровавых делах, — медленно, терпеливо и негромко произнес Выговский. — Можешь такое достать? В заводской смазке?

— Подумать надо, — присмирел Здор.

— Думай, куме, думай. А погода и в самом деле летная, — задумчиво произнес Выговский. Приблизившись к лобовому стеклу, он всмотрелся в сероватое от летнего зноя небо. — Может, ты и прав, может, это проводы любви.

Слова эти показались Здору странными, но ответа не требовали, и он озадаченно промолчал. Не все говорил Выговский, отделялся какими-то намеками, уводившими мысли Здора в сторону опасную, непредсказуемую, но пока еще терпимую. И он решил потерпеть, тем более что не было сказано ничего такого, что его к чему-то обязывало.

Ошибался он, ошибался.

Не знал, что невинные слова затягивают в воронку непредсказуемости куда сильнее, нежели самые страшные, но открытые клятвы. Может быть, Выговский действительно был силен умом и духом, может, просто мозги пудрил, подбирая слова ловкие да лукавые, но получилось у него, получилось — мысли Здора шли теперь в нужном направлении.

А Новороссийск им не понравился, обоим не понравился. Каким-то пустоватым показался. Громадные проспекты больше напоминали пустыри, ветер гнал по улицам обрывки бумаг, пластмассовые стаканчики, целлофановые пакеты. Людей почти не было видно, будто попрятались они в ожидании очередного обстрела, будто до сих пор продолжались эти обстрелы и бомбежки. Памятники героического прошлого — облезлые, ржавые, с отвалившимися плитами — казались попросту жалкими, будто оставили их прежние цивилизации, будто оставили их народы, навсегда исчезнувшие с лица земли.

А там как знать, как знать — тот ли народ живет сейчас на бескрайних просторах нашей родины, тот ли, который победил на Куликовом поле, который гнал Наполеона с полными штанами дерьма, который сломал хребет Гитлеру...

Кто знает.

Уж больно забит он, угодлив, заискивающ.

Потому и памятники в таком виде.

Похоже, нет уж того народа, которому они поставлены. Исчезли греки, ушли в небытие египтяне, вот и славяне потихоньку растворяются в темной, вязкой массе пришлых племен, которых они сами же и вскормили на свою голову. А ублюдки с непроизносимыми фамилиями неустанно клеймят их с экранов за какие-то несусветные грехи и пороки. И надо же — верят, каются, лебезят, обещают исправиться. Нет, это уже не те люди, которые в пыль и прах громили самых крутых вояк.

Не те, не те, не те...

Выговский постоял перед железнодорожным вагоном, изрешеченным снарядами, минами, осколками до какого-то невообразимого состояния, покачался с носков на каблуки, обошел вокруг вагона.

— А ничего досталось ребятам, — проговорил он наконец. — Крутовато досталось...

— Шестнадцать тонн снарядов и мин выпущено на каждого, — прочитал Здор на табличке.

— Нам бы таких ребят, а? — весело обернулся Выговский к Здору. — Человека три, ну, может быть, пять, а? Вполне бы хватило.

— Для чего? — осторожно спросил Здор.

— А для всего! — не задумываясь, ответил Выговский. — С ними что угодно можно было бы сделать. Что угодно, что угодно! — повторил он несколько раз и, ничего больше не добавив, опять оставил Здора в опасливом недоумении. — Знаешь, что я тебе скажу, — обернулся Выговский с переднего сиденья такси, когда они уже ехали к Мандрыке, — я вот что скажу... Они бы не потребовали с меня ни «Мерседеса», ни Шарончихи.

— Они бы потребовали другое, — с неожиданной жесткостью сказал Здор. — И ты бы им этого дать не смог. Не смог бы ты с ними расплатиться. Ни «Мерседесом», ни Шарончихой.

— И чего бы они потребовали?

— Сам знаешь.

— Может быть, — легко согласился Выговский. — Очень даже может быть. Но мечтать-то никому не запрещено, верно?

— Мечтай, — равнодушно протянул Здор.

Выговский резко обернулся назад, изумленно посмотрел Здору в глаза, и тот взгляда не отвел, не дрогнул, понимая, что этот разговор, эту маленькую схватку выиграл все-таки он.

И Выговский это понял.

— Как скажешь, — пробормотал он, глядя в ветровое стекло. — Как скажешь.

За окном мелькала жесткая рябь моря, буксир тащил через бухту какую-то посудину, на дальнем берегу просматривались зыбкие, дрожащие в знойном мареве контуры портовых кранов.

И Мандрыка им не понравился, обоим не понравился. Был он молчалив, смотрел исподлобья, сутулился, как бы закрывался от удара. Водку на стол ставил молча, молча умудрился отправить из комнаты жену, которая выглядела откровенно испуганной — все-таки приехал бывший зэк и ждать от него чего-то хорошего, по ее мнению, не приходилось. А Выговский был легок, улыбчив, с любопытством рассматривал фотографии на стене, любовался видом из окна, рассказывал, как они провели день, как познакомились с Новороссийском, увлеченно врал, что город его потряс, показался ему прекрасным и — о, как счастливы люди, которые живут здесь постоянно!

Здор озадаченно склонил голову к плечу да так и замер в немом изумлении — он не понимал, зачем врать на такую невинную, в общем-то, тему.

Наконец Мандрыка расположил на столе и водку, и помидоры, нарезал какой-то колбасы, которую Выговский сразу определил как плохую, и это еще раз убедило его в том, что Новороссийск — паршивый городишко.

— Прощу, — Мандрыка сделал невнятный жест рукой и первым сел к столу.

— Охотно, — сказал Выговский. Он сбросил светлый пиджак на кушетку и сел к столу, подкатав на ходу рубашка рубашки.

— Освободился, значит? — спросил Мандрыка, подняв глаза на Здора. — Давно?

— Уж успел забыть.

Всего несколько слов, пустых, в общем-то, ничего не значащих, но Выговскому их оказалось вполне достаточно. Он понял, что Мандрыка уверен в себе, слюнявить, смущаться и теревить носовой платок не будет, что Здора уважает не слишком и не церемонится с ним, но и Здор не чувствует никакой зависимости от своего дальнего родственника не то по жене, не то по первому мужу жены, не то просто по каким-то соседским связям.

— Это хорошо, — кивнул Мандрыка и разлил всем по полстакана водки. — Плохая память спасает нас от дурных воспоминаний. Воспоминания должны быть счастливыми и радостными.

— А у меня и от зоны остались только счастливые и радостные впечатления, — Здор твердо посмотрел Мандрыке в глаза.

— За это и выпьем, — ответил тот. — Бúдьмо!

— Не понял? — спросил Выговский. — Бúдьмо — это что?

— Краткое пожелание хорошей жизни. Если наш тост услышат высшие силы, мы будем удачливы и здоровы, будем вместе и навсегда, будем плодиться и размножаться, радоваться жизни и веселить своих близких!

И Мандрыка выпил до дна свой стакан.

— Больше всего мне понравилось, что мы будем вместе и навсегда, — ответил Выговский и тоже выпил до дна, сразу поняв, что Мандрыка — это тот человек, который очень болезненно воспринимает, когда собутыльник не допивает. Так и есть — Выговский поймал неуловимо быстрый взгляд Мандрыки, брошенный из-под кустистых бровей на его стакан.

— Значит, говорите, на отдых приехали? — спросил Мандрыка, отправляя в рот кусок вареной колбасы.

— Нет, — быстро ответил Выговский. — Приехали по делу. Срочному, важному, неотложному.

— О! — уважительно протянул Мандрыка. — Это хорошо. Настоящие дела всегда важные и неотложные. Другими и заниматься не стоит. Верно говорю?

— Полностью согласен, — Выговский для убедительности прижал ладонь к груди.

— Простите за любопытство, — Мандрыка глянул Выговскому в глаза. — Вы там познакомились? На зоне?

— Раньше, — ответил Выговский, не дав Здору времени даже открыть рот.

— А сюда, значит, пожаловали...

— К тебе.

— О! — с прежней уважительностью протянул Мандрыка. Но была все-таки на этот раз в его голосе некоторая, почти неуловимая, опаска, настороженность. — Остановиться хотите? Комната нужна? С видом на море? С питанием?

— Кончай трепаться! — не выдержал Здор.

— Порт нужен, — сказал Выговский.

— Весь? — поинтересовался Мандрыка.

И снова разлил по половине стакана водки.

— Можно весь. Согласны на половину. Не откажемся от самой малой части.

Некоторое время Мандрыка сидел, нависнув над столом, над своим стаканом. Поставив локти на стол, он принял позу, в которой, наверно, мог просидеть и час, и два. То ли он не придавал значения словам Выговского, то ли не услышал их, то ли думал над тем, что ответить, но ни одно из этих предположений не оправдалось.

— Слушаю, — наконец обронил он с нетерпеливостью в голосе. — Слушаю, — повторил уже несколько раздраженно.

— Лес для турок, — сказал Выговский.

— Как я понимаю... Без формальностей?

— Правильно понимаешь.

Мандрыка как бы вновь увидел свой стакан с водкой, не чокаясь, в задумчивости выпил его, сунул в рот четвертушку помидора и принялся не торопясь пережевывать, все так же уставясь в стол, будто видел на клеенке некие советы, которым должен следовать. Потом тяжело, с надрывом вздохнул, осознав тяжесть свалившихся на него забот, из-под бровей посмотрел на Здора, на Выговского.

— Много леса?

— Да, — ответил Выговский.

— Все, что ты заготовил? — усмехнулся Мандрыка, подняв глаза на Здора.

— Все, что он заготовил, нам не вывезти, — Выговский опять опередил Здора, не дав ему ответить. Понял, что тот опять сорвется на дерзость и непочтительность.

— И все станем богатыми? — спросил Мандрыка.

— Мы все станем богатыми, молодыми и красивыми.

— Поздновато хватились.

— Нет, в самый раз.

— Кто вывозит?

— Турки.

— Куда?

— Их проблемы.

— Так... Хоть какие-то документы будут?

— Будет все, что необходимо.

— Это хорошо, — Мандрыка помолчал. — Это хорошо, — повторил он с тяжким вздохом. — Еще выпьешь?

— Нет, хватит, — ответил Выговский. — Есть такой человек?

— Найдется.

На следующий день они сидели в этой же комнате, за этим же столом, и на столе стояла неизменная бутылка водки, были нарезаны помидоры и все та же несъедобная колбаса, которую можно было проглотить, лишь забив все ее запахи толстым слоем горчицы. Мандрыка, видимо, догадывался, какое впечатление производит на гостей его колбаса, и предусмотрительно поставил на стол баночку свежей горчицы, за что Выговский был благодарен ему более всего. Здор сидел, как и вчера, напряженно распрямившись за столом. На хозяина не смотрел, похоже, его интересовала лишь пыльная листва за окном.

— Ты что, лом съел? — спросил Мандрыка, усмехнувшись, и по этой его улыбке Выговский понял — хорошие новости! Сегодня Мандрыка был вообще улыбочив, даже снисходителен.

— Чем эту твою колбасу есть, лучше уж в самом деле лом проглотить.

— Приезжай со своей, — благодушно проворчал хозяин. — Хорошие гости и с водкой своей приходят. Хорошие гости, — уточнил Мандрыка еще раз.

— Ладно, хватит вам, — прервал перепалку Выговский. — Будет вам и водка, и шампанское... Все будет. Только не сразу. Ну? — обернулся он к Мандрыке.

— Все в порядке, — ответил тот, невозмутимо разливая водку в стаканы.

— Значит, разговор состоялся?

— Какой разговор, ребята! — Мандрыка откинулся на спинку стула и посмотрел на гостей в упор, уже не пряча глаза за густыми бровями. — Кончились разговоры. Принято решение. Оно положительное. Люди готовы включиться в работу.

— Так, — протянул Выговский, пытаясь понять второй смысл в словах Мандрыки, а о том, что второй смысл есть, он догадался сразу. Слишком хорошо тоже нехорошо — это он знал. А все сказанное Мандрыкой как раз и было тем, что называется «слишком хорошо». — Так... И вы можете отправить железнодорожный состав леса в течение... Ну, скажем, недели?

— А чего тянуть? — удивился Мандрыка. — День. Нам нужен на это день. Чем меньше твои бревна будут болтаться тут у всех под ногами, тем лучше для всех нас.

— Сколько? — спросил Выговский. Он сразу все понял, едва услышал коротенькое словечко «нас».

— Нисколько, — Мандрыка пожал тяжелыми, литыми плечами.

— Не понял?

— Все ты, парень, понял, — усмехнулся Мандрыка. — Причем понял правильно. Мы в деле.

— Мы — это кто?

— Я и тот человек, который берется нам помочь.

И опять, опять царапнуло Выговского это словечко — «нам».

— Но мы об этом не договаривались.

— А в чем дело? Договоримся.

— И сколько вы хотите процентов?

— Никаких процентов. Все на равных. Участок, который мы обеспечиваем... Поважнее всех прочих. Вместе взятых. Но мы не жлобы, мы не требуем слишком много... А на равных — это справедливо. Разве нет?

— Я должен посоветоваться.

— С кем? С ним? — Мандрыка кивнул на Здора. — Я и так вижу — он согласен. Когда работа идет на равных, когда на равных делятся деньги — все согласны. Я вот еще что скажу тебе, парень... Поторопись. Такое положение не может длиться слишком долго. Год... Два... Хотя два — вряд ли. Год. А потом спохватятся.

— Кто?

— Все спохватятся. На всех уровнях. А пока — можно. Так что готовь свои составы. Заказывай суда, договаривайся с турками, шмурками — с кем угодно.

Перед Выговским сидел совсем не тот человек, которого он увидел в первый день. Это уже был не замухранный, с прячущимся взглядом, сутуловатый охранник ли, вахтер ли, ночной ли сторож при общественном туалете. Нет, откинувшись на спинку стула и подняв голову, ему в глаза смотрел человек, прекрасно знающий себе цену и, похоже, неплохо разбирающийся в портовых хитро-сплетениях. Недооценил он Мандрыку, явно недооценил.

— А этот твой человечек... — начал было Выговский, но Мандрыка перебил:

— Он будет через десять минут.

— Да? Ты знал заранее, что я приму ваше условие?

— Конечно. У тебя нет другого выхода.

— И я не найду других людей?

— Почему же... Найдешь. Но они запросят больше.

И он пришел, этот человечек, как назвал его Выговский. Ровно через десять минут мимо окна скользнула тень, в коридоре раздались шаги, дверь открылась без стука, и он возник на пороге — круглолицый, улыбающийся, в сером костюме и при синем галстуке. Чуть полноватый — таких раньше в руководство набирали, они через какое-то время секретарями становились, директорами, такой тип людей требовался во многих областях народного хозяйства — от культуры до металлургии.

— А вот и я! — сказал он, показав ряд зубов, белых, ровных, уходящих в полумрак рта и, кажется, даже продолжающихся где-то там, в глубинах румяного организма. — Борис Петровичем зовут. А фамилия простая и непричятельная — Гушин. От слова «гуща». Есть бурда, баланда, а есть гуща. Так вот я — Гушин.

— Забыть невозможно, — вынужден был согласиться Выговский и, поднявшись из-за стола, протянул руку.

Прежде чем выйти из номера, я достал из-под матраца пистолет, разобрал его на столе до последней детали, протер, снова собрал, несколько раз нажал на курок — все было в полной готовности. После этого я заново зарядил обойму, вставил в рукоятку, передернул затвор, послал патрон в ствол, и опустил кнопку предохранителя.

Наверно, всего этого можно было и не делать — пистолет был в порядке, и я знал об этом. Но простые, необязательные действия по разборке-сборке внушали какую-то уверенность или уж, во всяком случае, надежду на то, что я смогу оказать сопротивление, а может быть, даже успею выстрелить первым. Вот к чему я стремился всегда, справедливо полагая, что важнее всего в жизни именно эта способность — выстрелить первым.

До сих пор удавалось.

После того как я увидел собственную фамилию в ежедневнике директора Дома творчества, самое разумное

было — слинять. Первым же автобусом, первым частником рвануть в Феодосию или еще лучше в Симферополь — и на самолет. На любой самолет, который отлетал в каком угодно направлении. Вместо этого я сидел в своем номере, прислушивался к звукам, доносившимся с набережной, и тупо смотрел на пистолет, неестественно удлинённый глушителем. Хороший глушитель, от выстрела он оставлял только легкий щелчок, напоминающий удар маленького камешка по оконному стеклу. Вполне невинный звук, который можно было принять за щелчок пальцами, упавший на пол перочинный ножик, а то и просто обыкновенный человеческий чих. Каждый волен был принять этот звук за что угодно. Главное — не опоздать с выстрелом. Но если я об этом думаю и к этому постоянно возвращаюсь, значит, такая опасность существует.

И еще — мне некуда уезжать.

И не хочется.

Была еще одна причина моей привязанности к Коктебелю — меня ведь ищет не только киллер с прекрасно развитым собачьим чутьем, меня ищут и вполне официальные органы. Они не столь ловки и подвижны, но их много, и они тоже обладают некой неотступностью. Я встречал собственные фотографии в самых различных местах — от газетных страниц до милицейских щитов. Так что большие темные очки, купленные на неаполитанской набережной, нужны мне не только для того, чтобы безнаказанно разглядывать загорающих девочек, не только, ребята, не только.

Сунув пистолет сзади за пояс и набросив на плечи джинсовую куртку, я вышел на набережную. Свет не стал выключать — пусть думают, что в номере кто-то есть.

Маленькая площадь перед столовой Дома творчества уже была полна народу. Художники маялись у своих ка-

радагских пейзажей, бабули разложили всевозможные травы, настои, сухие пучки каких-то душистых цветов с гор, тут же торговали керамикой, камнями, подсвечниками и вообще черт знает чем — всем торговали. Уже гремела в ресторанах музыка, медленно передвигались с толпой зацелованные девочки, ошалевшие от них мальчики, но во всем чувствовалась какая-то прощальная тоска, сентябрь шел, сентябрь.

Совсем скоро наступит саднящая пустота, примерно такая же, какая давно уже установилась во мне самом. Еще и поэтому не хотелось уезжать — достаточно было продержаться неделю-вторую, и тогда здесь можно будет залечь до следующего лета в полной безопасности. Я, кажется, даже простонал вслух от предвкушения этого блаженства — совершенно пустой поселок, грохочущее море, заснеженные горы и красное вино каберне, которым можно согреться в самые холодные ночи...

У разогретого за день парапета неизменно, как профиль Волошина на срезе скалы Карадага, стоял Жора Мельник, разложив свои каменные изваяния. Всю зиму в полном одиночестве бродит он по пустынным пляжам, подбирает после шторма занятые камни и с помощью обломка стального полотна выцарапывает из них все, что увидится его не совсем трезвому взгляду. А с наступлением лета выставляет на парапете длинный ряд всевозможных чудищ, девичьих головок, пожирающих друг друга змей и прочую нечисть.

Покупают.

— Привет, — я пожал его натруженную руку. — Как успехи?

— Один камень купили, два украли.

— Это считается хорошим результатом?

— Неплохим.

— Бывает хуже?

— Все бывает... Прошлым летом нечаянно заснул на пляже — украли целую сумку с камнями. Труд всей зимы. Глоточек?

— Можно.

Жора, не глядя, заводит руку за спину, берет с теплого парапета початую бутылку мадеры и наливает в фужер, который, видимо, на вечер одолжил в соседнем ресторанчике.

— Дыней закусишь?

— Закушу.

Из-за отсутствия ножа Жора режет дыню пилочкой для ногтей. Скибки получаются рваными, сочащимися, но на результат это никак не влияет. Мы пьем холодное горьковатое вино, закусываем дыней и смотрим на проходящие мимо поредевшие толпы отдыхающих. Через неделю их останется совсем мало, а еще через неделю они и вовсе исчезнут.

— Когда уезжаешь? — спросил Жора.

— Не знаю... Может, вообще останусь.

— На зиму?!

— А что? Не советуешь?

— Почему? Оставайся. Если духу, конечно, хватит.

— Хватит.

— Как тебе мое новое произведение? — Жора чуть сдвинулся в сторону, и я увидел стоящий на парапете каменный мужской член. Он был сработан трепетными Жориными пальцами с такими ошарашивающими подробностями, с таким точным соблюдением всех предусмотренных природой впадин и выпуклостей, что при первом взгляде на него брала оторопь.

— Неужели подобное возможно? — пробормотал я потрясенно. Взяв каменную стелу в руки, я внимательнее всмотрелся в это произведение. Все тело члена было испещрено какими-то растениями, ветвями, листьями, кажется, даже цветами. — А что это? — спросил я.

— «Древо жизни» называется. На женщин сильное впечатление производит. Мужья тащат их от этого члена, как от собственного позора, а они шеи выворачивают — все не могут взгляда оторвать.

— Почему?

— Только взглянув на это... на эту вещь, они понимают, как жестоко обошлась с ними жизнь, как убоги и бедны их постельные впечатления.

— Сколько хочешь за него?

— Пятьдесят долларов, — ответил Жора чуть дрогнувшим голосом — ему, видимо, показалось, что заломил многовато.

— Беру.

— Зачем он тебе?

— Не знаю... Вдруг пригодится... Может, подсвечник сделаю.

— Точно берешь?

— Сказал же.

— Пока оставлю, пусть стоит. Народ привлекает.

— Но он мой, — я вынул из кармана и вручил Жоре пятьдесят долларов.

— А если б сто запросил?

— Дал бы сто.

— Пролетел, значит, — сказал Жора без сожаления.

— Так и быть, десятку добавлю.

— Не возражаю. Еще глоточек?

— Выпью.

— Я теперь богатый... Да, тебя тут одна девушка спрашивала.

— Девушка?

— Симпатичная такая, фигуристая. Не встречал ли, спрашивает, такого высокого, с короткой стрижкой, и на виске родинка, как след от пули...

— Так и сказала — след от пули?

— Так и сказала.

— Странное направление мыслей у девушки. Давно?

— С полчаса назад.

— Узнаешь?

— Узнаю, но раньше ее не видел. А вон она, — Жора показал пальцем в толпу.

Обернувшись, я увидел свою пляжную знакомую. Она опять шла с подружками, такими же до черноты загорелыми. Увидев меня, весело помахала рукой, подняв ее высоко над головой. Я ответил. Девушка что-то сказала подружкам, все весело рассмеялись и, не задерживаясь и не ускоряя шага, пошли дальше, увлекаемые разгоревшей жарой толпой.

У меня отлегло от сердца.

Киллеры не ходят толпами, не смеются весело при встрече со своими жертвами и не приветствуют их взмахами руки.

— Я понял, что она о тебе спрашивает, — сказал Жора. — Сказал, что да, бывает здесь такой. Слова о тебе хорошие произнес. У вас завяжется. Поверь моему южному опыту.

— Спросила еще что-нибудь?

— Как зовут спросила. Я сказал. Она твоя, не теряйся. Хочешь, отсеку ее подружек?

— Потом. Шампанского выпьем?

— Я вообще-то больше по мадере...

— Выпьем, — сказал я. — У меня с шампанским связаны неплохие воспоминания.

— Тогда надо, — согласился Жора.

В соседнем киоске я взял две бутылки завода «Новый свет». Когда-то в Москве мы гонялись за этим вином, а здесь его навалом. Как все меняется — то, что было почти недоступно, валяется под ногами. Бери — не хочу. А то, что казалось естественным, вдруг исчезло, и, кажется, навсегда.

Мы сели на парапет, открыли бутылку и стали по очереди прихлебывать из роскошного ресторанный фужера. За свой тыл я был спокоен — со спины только море, откуда ко мне не подобраться. А передо мной — медленно проплывающая толпа. Наступили сумерки, и торговцы осветили свои прилавки искусственными фонарями, подсветками, светильниками.

— Хочешь, прочту стихи? — спросил Жора.

— Свои?

— Конечно.

— Свои читай.

— Ты проснулся — нет вина, И к тому ж в чужой постели. Значит — точно с будуна, Значит — точно в Коктебеле!

— Неплохо, — сказал я, открывая вторую бутылку. — Мне нравятся. Они где-то напечатаны?

— Нет.

— Надо напечатать.

— Это не уйдет, — беззаботно ответил Жора.

— Уйдет. Все уходит.

— Но мы-то остаемся! — рассмеялся он.

— И мы уйдем.

— Как знать. — Я чувствовал, что сзади, из-под моей куртки, четко проступают контуры пистолета, но это меня не беспокоило — за спиной был простор моря, оттуда просто некому было увидеть эти зловещие очертания.

Неожиданно совсем рядом раздался выстрел.

Я замер, сжался, даже, кажется, закрыл глаза...

Но нет, обошлось.

Целью был не я.

Как оказалось, цели вообще не было — взорвалась какая-то лампа. То ли вода в нее попала, то ли кто-то опрокинул треногу с картинками. В толпе засмеялись, посыпались шуточки-прибауточки, а Жора вообще ничего не услышал. Счастливые люди — грохот выстрела их

только забавляет. Если вообще они его услышат. Когда-то, совсем недавно, и у меня было такое же состояние. Если сейчас любой резкий звук я воспринимаю как выстрел, то всего два года назад я тоже готов был принять его за что угодно — упала книга с полки, кто-то уронил молоток с крыши, дети с хлопушками забавляются...

Другая была жизнь.

Опять прошла стайка знакомых девушек — теперь в обратную сторону. Мы с Жорой сидели в тени, они нас не заметили. Девушки все так же веселились, что-то рассказывали друг другу и казались совершенно довольными жизнью.

Это было неестественно.

Ненормально.

Озабоченность должна была хоть как-то проявляться в их поведении. Сюда приезжают не для того, чтобы вот так бестолково шататься по набережной. Их обязательно должен был кто-то подцепить, закадрить, снять. Или это же должны были сделать они. Не лесбиянки же, в самом деле. Может быть, их мужики уже уехали? Судя по загару, девушки здесь давно. Скорее всего, так и есть — добывают последние дни.

— Кадрим? — спросил Жора, поймав мой взгляд.

— Чуть попозже.

— Уедут... Видишь, какие созревшие.

— Раньше ты их здесь видел?

— Всех не упомнишь.

— Этих мог бы и заприметить.

— Мелькали, — равнодушно протянул Жора. — Не такие, правда, загорелые. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Это не я столь красиво выразился, поэт так сказал.

— Лермонтов.

— А ты начитанный, — рассмеялся Жора.

— Пойду, — сказал я, прыгивая с теплого парашюта.

— Напрасно. Все только начинается! Через полчаса такая жизнь здесь пойдет, такие люди появятся, такие события случатся... Оставайся! Я за вином сбегая, а?

— Пойду. «Древо жизни» не потеряй. Оно уже мое.

— В самом деле хочешь подсвечник сделать?

— Может быть.

— Могу дырочку просверлить в интимном месте... Вставишь гвоздик, наденешь...

— Жора! — сказал я негромко. — Я сам вставлю гвоздик, хорошо?

— Виноват! — Жора склонил голову.

— Пока, — я пожал ему руку и шагнул в сторону калитки Дома творчества. Там сразу же начинались кусты, шла сетка-забор дома Волошина, и скрыться было нетрудно. Постояв немного в зарослях, я убедился, что никто за мной не идет, никто меня не высматривает. В свете слабого фонаря проходили пары, на ходу целовались, на ходу тискались и снова исчезали в темноте. Все так же кустами я прошел в сторону чайного домика, на ощупь, в темноте перепрыгнул через канаву с жижей, текущей из столовой, и вышел к главной аллее. Она была совершенно темной, от прежних счастливых времен не осталось ни единого фонаря на всем ее протяжении. Только по отдельным смутным пятнам, по мерцающим сигаретам да изредка доносящимся негромким голосам можно было догадаться, что по аллее идут люди, мужчины и женщины, дети и собаки. Когда-то, в другие времена, здесь не смела показаться ни одна машина, а теперь свет фар вызывал радость и чувство облегчения — можно было увидеть, где идешь, кто вокруг, куда нужно свернуть.

Оказавшись у памятника Ленину со сбитым носом и вымазанными алой помадой губами, я понял, что уже у цели — девятнадцатый корпус был совсем рядом. Расположившись в кустах на скамеечке, я некоторое время

наблюдал. Все было спокойно, ничего не насторожило меня, не вызвало подозрений. За спиной грохотал оркестр — так, что с деревьев опадали подвявшие осенние листья. Несколько окон в корпусе светилось оранжевым цветом — шторы во всех номерах были задернуты.

Убедившись, что вокруг никого нет, я быстро прошел к своему подъезду, по длинной, одномаршевой лестнице поднялся на второй этаж, вошел в номер и тут же повернул в двери ключ на два оборота.

Поправил шторы, чтобы не было ни малейшего просвета, включил верхний свет и подошел к зеркалу. Да, действительно, на правом виске можно было заметить не слишком темную родинку. Ее нетрудно было увидеть с близкого расстояния, когда разговариваешь с человеком глаза в глаза, когда стоишь в вагоне метро или в троллейбусе. Но в том-то все и дело, что, кроме Жоры и нескольких человек в столовой, я ни с кем не разговаривал. И уж, во всяком случае, солнечная девушка не подходила ко мне достаточно близко.

На пляже?..

На пляже я постоянно был в темных очках, а они напрочь перекрывали этот мой опознавательный знак. Когда я надевал очки, увидеть родинку было невозможно. Значит, здесь есть люди, которым о ней было известно заранее?

И все-таки я никак не мог заставить себя поверить в то, что киллерская машина, запущенная год назад, и сегодня, когда никого уже нет в живых, никого, включая меня самого, продолжает действовать. Я знал, что так бывает, но в то, что это так и есть, поверить не мог.

В этом была еще одна причина того, что я все-таки остался в Коктебеле. Да, моя фамилия в ежедневнике у директора. Да, кто-то там на пляже уловил момент и увидел родинку на моем виске...

Ну и что?

Та же милая девчушка могла увидеть меня в толпе без очков? Вполне могла.

Кто-то мог у директора спросить о человеке с такой же фамилией? Мог.

Все. Остаюсь.

Говорю же — нет меня в живых. В лучшем случае они прострелят труп, но не живого человека. Когда-нибудь, где-нибудь какая-то часть моего организма, возможно, и оживет. Может быть, мозги, сердце, может быть, еще кое-что... Не зря же Жора всю зиму выскабливал из камня ту самую штуковину, не зря же я купил ее...

Да, не забыть забрать. Пусть будет при мне.

Странные вещи начинают происходить среди незнакомых людей, когда они объединяются ради какого-то дела. Каждый из них уже не тот, кем был раньше. Из глубин организма выныривают качества, о которых человек раньше в себе и не подозревал. Или наоборот — исчезают черты, особенности, которые когда-то его угнетали, мешали жить.

Говорят, деньги меняют человека, портят, более того — перерождают.

Ничуть.

Никакие деньги человека изменить не могут. Деньги делают другое, более страшное — они вызволяют те качества, те свойства характера, которые были в нем всегда, но раньше он о них не осмеливался даже заикнуться — настолько они были несовместимы с прежней жизнью, с прежними возможностями.

Стоило Здору вставить новые зубы, он тут же, вместе со старыми, проевшимися железками, сам того не заметив, отбросил и зависимость от Выговского, исчезло заискивание, появилась даже некоторая твердость, которая поначалу выглядела обыкновенной капризностью. Выговский усмехался про себя, но уже чувствовал, по-

нимал — капризность твердеет, может быть, даже окаменевают, и вот-вот он получит вместо прежнего Здра человека самовольного, а то и попросту неуправляемого.

Теперь их уже было семь человек, и все понимали — хватит.

Достаточно.

Гущин с Мандрыкой взяли на себя порт, Выговский по инерции продолжал осуществлять общее руководство, но понимал, чувствовал — так будет не всегда. Все чаще возникал Гущин, что-то было в этом Гущине. За всеми его улыбочками, румяными щечками, молоденьким брюшком, к которому он еще не привык и потому постоянно втягивал в себя, продолжая носить прежние одежды, за всем за этим просматривался человек цепкий, если не сказать жадный. Опыт — вот что было в Гущине. Опыт руководства людьми. Он с ходу, быстро, в две-три встречи определил слабое место каждого и как бы повесил на спину каждому невидимый ярлык.

Появились еще трое, они не могли не появиться. Начальник какой-то северной железнодорожной станции Горожанинов — рыжий, кудрявый, с золотыми зубами, с манерами вольными и раскованными. И походочка у него была какая-то расхлябанная, при ходьбе ноги от колена выбрасывал вперед, когда разговаривал, плечиками играл. Да, можно сказать, что жестикулировал ими, вздергивал, удивляясь, в недоумении поднимал, почти прижимая к ушам, — такой вот человек был. Но при этом три состава платформ организовал быстро, четко, загрузил их и отправил со всеми полагающимися документами.

Появился начальник северного лагеря — Здор затащил в компанию, сидел он когда-то у него. Усошин была его фамилия, Николай Иванович Усошин. Недоверчивый, настороженный — видимо, работа с зэками выработала в нем эти качества. Слушал всех внимательно,

но маленькие глазки оставались неподвижными, будто пытался понять не только сказанное, но и второй смысл слов, и третий. При этом Усошин как бы ни в одно слово не верил, будто наверняка знал — обманывают и будут обманывать впредь.

И еще появился Агапов. Сергей Агапов. Бывший десантник, вернулся он после армии в те же самые края, откуда был взят на службу. Поскольку все его сверстники за это время окончательно спились, некоторые сели, иные слиняли куда подальше, Агапов остался чуть ли не единственным на весь поселок, кого можно было назначить начальником леспромхоза. Прежнего уже при нем, уже после возвращения из армии, застрелили на дальнем участке, по пьянке застрелили. Поддавал мужик и, напившись, вел себя в компании непочтительно. За что и получил заряд картечи в живот.

После этого и стал Сергей Агапов начальником, как-то естественно стал. А поскольку прошел десантные войска, прыгал с парашютом, разбивал головой кирпичи, падал и поднимался, то поселился и окреп в его душе некий авантюризм. А особенно окреп, когда он стал начальником леспромхоза. Убедился опять же, что все им испытанное и достигнутое должно в дальнейшем находить применение.

Когда Выговский приехал к нему в избушку и предложил работать вместе, Агапов сомневался недолго — между первым и вторым стаканами. Собственно, уже второй стакан был освящен тостом деловым и кое-что сулящим в этой жизни, полной смертельного риска и всевозможных неожиданностей — так красиво и убедительно выразился Выговский, поднимая опять же второй стакан.

— Сколько нас? — спросил Агапов.

— Человек семь-восемь... Где-то так, — Выговский неопределенно повертел в воздухе растопыренной ладонью.

— Что за люди?

— Надежные ребята, — соврал Выговский. Соврал не потому, что ребята не были надежными, а потому, что он попросту не знал, что за люди собрались под его знаменами.

— Кто такие? — В немногословных и предельно четких вопросах Агапова чувствовался печальный жизненный опыт — кидали его, уже успели шустрые люди кинуть на два состава леса. А кроме того, по складу своего характера и тела, по росту, ширине плеч он понимал, что так и должен себя вести — требовательно, строго, говорить кратко, пить много и ни в коем случае не пьянеть. Все это ему удавалось, и все, как ни странно, производило впечатление на Выговского. Тот даже немного сник, понял, что с этим мужиком нельзя вести себя, как со Здором — этак снисходительно, а то и поощрительно. Но в то же время почувствовал, что они во многом одинаковы, и когда начнутся разборки, а в том, что разборки начнутся, он не сомневался, так вот, он решил, что с Агаповым они найдут общий язык.

— Значит, так, старик, — Выговский разлил по стаканам водку и хорошим таким, широким жестом отставил бутылку в сторону, поддернул рукава пиджака, в упор посмотрел на Агапова. — Ты последний.

— В каком смысле?

— Кроме тебя, нам уже никто не нужен. Все схвачено.

— Но все пока на свободе?

— Не понял?

— Шутка.

— А-а, — протянул Выговский без восторга. — Разные шутки бывают. Но есть, старик, вещи, которыми не шутят.

— Не буду, — Агапов успокаивающе похлопал Выговского по плечу, и тот опять подумал — с этим будет